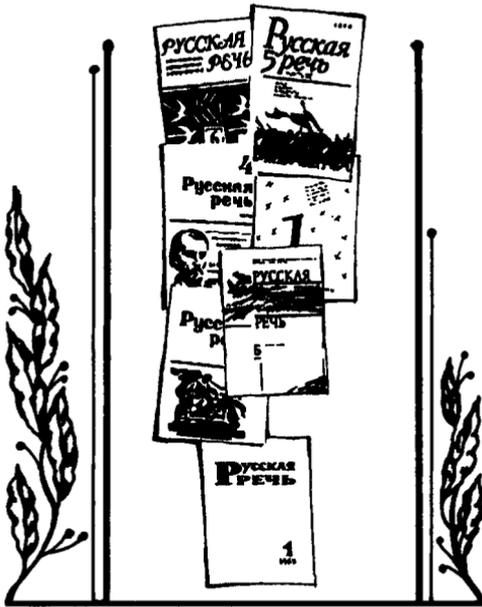


ЯЗЫК И КУЛЬТУРА

Круглый стол



*В январе 1967 года,
40 лет назад,
появился на свет
1-й номер "Русской речи".*

*В преддверии
этой знаменательной
даты постоянные
авторы журнала,
его друзья и почитатели,
члены редколлегии*

*собрались
за круглым столом,
чтобы обсудить
актуальные проблемы
русской речи
в рамках темы
"Язык и культура"*

Открывая дискуссию, главный редактор журнала "Русская речь" академик РАО, президент Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина **В.Г. Костомаров** вкратце напомнил историю журнала, начало его пути.

Идея создания научно-популярного журнала по русскому языку вызревала долго, а появилась она у Сергея Ивановича Ожегова. Он считал, что нужен печатный орган, который, с одной стороны, просвещал бы людей, а с другой – давал бы возможность ученым обмениваться взглядами по тем или иным вопросам русистики, но с учетом практических нужд носителей русского языка. Ему удалось в те годы открыть непериодическую серию сборников "Вопросы культуры речи". Вышло

восемь таких выпусков. Именно эти сборники подготовили рождение журнала “Русская речь” в 1967 году при участии академика В.В. Виноградова. Так мечта многих людей воплотилась в жизнь. Это издание успешно совмещает просветительские функции с научным подходом к самым разным проблемам русского языка, – заключил В.Г. Костомаров.

В. В. Славкин,
кандидат филологических наук
(факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова,
кафедра стилистики русского языка)

В последние десятилетия много говорят о плачевном состоянии русского языка, повальной безграмотности населения, падении уровня культуры вообще и речевой культуры в частности. Сейчас я веду программу “Ликбез” на “Русском радио-2”. И все больше и больше убеждаюсь в том, что в обществе интерес к русскому языку, к русской речи растет. Увеличивается спрос на любые программы, передачи, издания, в которых говорится о русской речи как о великом нашем достоянии, богатстве, ценности. И в этом отношении журнал “Русская речь” пользуется заслуженной популярностью, и она традиционна. Этот журнал интересен читателю, он не только научно состоятелен, фундаментален, что ценно для филологов, но находит отклик в душе обычного человека, которому хочется говорить на прекрасном русском языке.

К сожалению, жизнь преподносит совсем другой материал. Недавно журнал “New’s week” представил интернетовский язык молодежи (падонков!), типа “ужос!”, “превед!” и т.п. как новое явление, характерное для дальнейшего развития русского языка в XXI веке. На нашей кафедре возникла дискуссия по поводу того, как относиться к такому языку – и вообще, шире – к различным нарушениям нравственных, этических, языковых норм.

При всем разнообразии высказанных мнений мы сошлись в том, что эта нарочито грубая, циничная речь – все-таки игра. В лингвистике есть понятие “языковая игра”, которая развивает чувство языка у говорящего, слушающего, читающего. Это положительное явление. А то, что мы видим на молодежных сайтах, – игра деструктивная, агрессивная, отпугивающая нормальных людей от этих сайтов. Надо широко обсуждать, как бороться с наплевательским, издевательским отношением к

русскому языку, помня о том, что вопрос об ответственности каждого человека, говорящего русским языком, не дискусионен, он очевиден.

Еще одна актуальная тема – источники нормы. Ведь языковая норма – это наша языковая конституция. Источниками нормы всегда считались художественная литература, речь образованных людей, язык средств массовой информации. Сейчас они не “работают”, не выполняют этой роли.

Стоит ли придерживаться жесткого, ригористического отношения к норме, или можно пойти по пути ее размывания? Кстати, размывание нормы – это тоже современная норма. Можно говорить об орфографии и фонетике, о синтаксических структурах, о стилистике, о границах допустимого и недопустимого в звучащей публичной речи, можно говорить о речи политиков – тоже как о явлении вполне деструктивном, размывающем норму, – здесь много поводов для обсуждения, которые могут вызвать живую реакцию читателей.

В. Э. Морозов,
доктор филологических наук
(ГИРЯ им. А.С. Пушкина)

Человек, претендующий если не на элитарный, то на среднелитературный уровень речевой культуры, должен стремиться знать языковые нормы, имея право отступать от тех из них, которые представляются ему факультативными, а, быть может, и устаревшими, не соответствующими реальным речевым потребностям, сковывающими речь.

При этом полный отказ от соблюдения языковых норм приводит к фрустрациям типа той, которая произошла в результате попытки внедрить через Интернет, например, через сайт *udaff.com.*, фонетический принцип в русское письмо. Думается, что эксперимент закончился провалом. Так называемый “народ” воспринял идею как отмену всех правил, и все стали писать, как заблагорассудится, руководствуясь единственным “принципом”: чем чудней – тем милей. Например: “Но ниутамимый Метволь не успокоился и стал пристально всматривацо в неспакойные воды Омур... И вот к какому выводу прешол. Пачти цытато”. Читать такие тексты весьма затруднительно. Подобная демонстрация “неограниченно свободного”, проще сказать, безответственного отношения к языку годится для игры, а не для серьезного общения.

С. Г. Михейкина
(МГТУ “МАМИ”)

Я преподаю русский язык в техническом вузе и наблюдаю, как у молодежи (не гуманитарного профиля!) интерес к русскому языку возрастает с каждым годом.

Мы интересовались у наших студентов отношением к жаргону, к языку “падонков”. Они знают его, умеют им пользоваться, потому что не хотят получить на этом сайте вердикт “Учи албанский!” или “В Бабруйск, животнайе!”, но им это не интересно, надоедает. Беспокоит не то, что взрослые дети играют в свои игры – поиграют и забудут, пойдут дальше. Беспокоит то, что все эти “изобретения” подхватываются теми, кому за тридцать и за сорок, переходят в их язык и являются нам в рекламе, в средствах массовой информации. Пресса примитивно заигрывает с народом с помощью различных эпатажных заголовков, которые рассчитаны главным образом на молодежь. Но даже молодых людей раздражает, как показывают опросы, когда на первых полосах размещают заголовки, которые невозможно произнести вслух. Когда бульварные издания этим занимаются – это одно, но когда к таким приемам прибегает более серьезная пресса – это удивляет и огорчает. Понятно, что гораздо сложнее придумать яркий заголовок, используя литературную норму, так как это требует умственного напряжения, творческого поиска. Намного легче взять то, что, по расчетам авторов, подхватит большинство. Но это большинство уже отвергает подобные “изыски”.

Надо двигаться дальше: нужно больше материалов о том, что знать родной язык – это красиво, привлекательно, престижно. Молодежь к этому готова.

Е. С. Кара-Мурза,
кандидат филологических наук
(факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова,
кафедра стилистики русского языка)

В Интернете существуют и другие сообщества, объединяющие молодых людей по их интересам к каким-то писателям, книгам и т.п. Есть сайты, где употреблять ненормативную лексику или общаться на языке “падонков” не принято. Это разграничение, условно говоря, – как между монастырями: вы в наш монастырь не ходите. И если, предположим,

кто-то, обычно из новичков, позволит себе нецензурное выражение, то определенные люди, наблюдающие за порядком на этих сайтах – они называются модераторами – имеют право “забанить”, т.е. запретить этого человека. Сначала ему делается предупреждение, если это не помогает, его в сообщество больше не допускают. То есть, саморегулирование в плане коммуникативных правил у этого поколения есть, и в этом я вижу залог “здоровья” русского языка и русской речи.

Н. Д. Бессарабова,

кандидат филологических наук
(факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова,
кафедра стилистики русского языка)

Я являюсь подписчиком “Русской речи” с первого номера. В журнале очень много полезного – и для филологов и для читателей-неспециалистов. Я буду говорить о лингвоэтическом направлении. Это такая область знаний, которая объединяет этику как учение о морали и лингвистику как учение о естественном человеческом языке. Поясню на примерах из средств массовой информации. Так, радиостанция “Маяк” сообщает: “Знаменитый турецкий террорист Агджа снова угодил за решетку”. На первый взгляд, никаких нарушений норм здесь нет. Но есть “знаменитый террорист”. Знаменитыми могут быть ученый, путешественник, артист... Я просмотрела множество словарей – и везде слово *знаменитый* имеет положительный смысл. Употреблять без иронии, в прямом смысле такие словосочетания, как *знаменитый убийца*, *знаменитый преступник*, *знаменитый вор* – недопустимо. Это уже вопрос морали, нравственного воспитания.

Сейчас принято говорить: “Многое устарело”. Но в каком направлении идут изменения? Если разрывается связь с традицией, если уравниваются добро и зло и если пишущему безразлично, кто чем знаменит – это очень дурно. А вот другой пример, который привела моя коллега Т.И. Сурикова, – “дачная амнистия”. Амнистируют и тех, кто явно украл земельную площадь, и скромных владельцев шести соток. Явных нарушений языковых норм здесь тоже нет, но есть нарушения этического плана.

Мне кажется, что лингвоэтика, или этическая лингвистика, и должна заниматься подобными вопросами – как слово отзовется, какой отклик в умах, душах, сердцах людей это слово вызовет.

Для меня этическая лингвистика – это попытка осмыслить этические категории в языковом плане, средства выражения, способы пере-

дачи этических категорий. Особенно в применении к средствам массовой информации. Именно с этих позиций нужно выявлять демагогию, пошлость, цинизм.

В. Ю. Троицкий,

доктор филологических наук

(ИМЛИ им. А.М. Горького. Член редколлегии журнала
“Русская речь”)

Журнал “Русская речь” находится на передовой линии информационно-психологической войны. Чтобы в ней победить, необходимо вернуться к основополагающим понятиям и наполнению их достаточным смыслом.

Тема, обсуждаемая сегодня, – “Язык и культура”. Пока мы не представим четко все признаки языка человеческого в отличие от “воронье-го”, мы с большим трудом сможем определить, в каких областях, в каких взаимоотношениях должны находиться язык и культура.

1. Язык понимается ограниченно – как орудие общения. Этот признак определяет его человеческое содержание. Язык – это концентрированное выражение умственного и духовного опыта, который есть в словах. Размышляя над словом и тем более – над однокоренными словами, мы можем извлечь очень многое, даже не зная некоторых значений этих слов. Есть и наследуемый опыт, но об этой стороне языка следует говорить особо.

2. Язык – единственное средство познания мира. Другого средства у человека нет. И там, где испорчен или поврежден язык, человек становится неспособным воспринимать знания, культуру.

3. Язык – это среда обитания духовного человека. Я подчеркиваю это слово – духовного. Мы все знаем, что среда обитания либо содействует развитию и бытию, либо повреждает бытие. И мы вправе требовать, чтобы как духовные существа, мы были бы защищены от словесных помоев, которые на нас выливают в нашем нынешнем обществе.

4. Наконец, язык – это особая, известная и неизвестная нам энергия. Влияние этой энергии на нашу жизнь и наш генетический аппарат столь значителен, что мы не имеем права забывать и об этой стороне языка.

Важно, как мы определяем понятие “культура”. Осмелюсь предложить свою трактовку признаков культуры, определив, прежде всего, уровни духовности. Потому что, по моему глубокому убеждению, культуры без духовности не существует.

Духовность – есть способность понимать или ощущать, что, кроме материальных, практических ценностей в мире есть иные – духовные. Более значительные и значимые эти самые ценности заставляют нас утверждать, что для человека свойственно абсолютно бескорыстно стремиться к истине, добру и красоте. Культура в моем понимании – это состояние сознания, бытие, творчество и результаты творчества, подтверждающие духовно-человеческое в человеке. Это первый признак культуры. Если духовно-человеческое в человеке не утверждается, то это уже не культура, это антикультура, псевдокультура, субкультура – все это угодно, но не культура.

Второй признак культуры – это четко выраженная иерархия ценностей. Если она есть, то есть и культура. Сейчас мы наблюдаем, как разрушается именно иерархия ценностей, когда в одном ряду – святое, доброе, обыденное, пошлое, низменное. И когда говорят о “знаменитом террористе”, то это реакция языка на криминальное сознание его носителей, на состояние общества. И это не означает, что норма изменилась, она осталась прежней, незыблемой остается и иерархия ценностей. Третий признак культуры – это наследование плодотворных традиций. Без традиций нет никакой культуры. И пусть нам не говорят, что какие-то новые явления появились без почвы. Они появились в противовес чему-то. Иными словами, они либо разрушительны, либо созидательны.

М. В. Горбаневский,

доктор филологических наук,

председатель правления Гильдии лингвистов-экспертов
по документационным и информационным спорам.

Член редколлегии журнала “Русская речь”

Журнал “Русская речь” значит для меня очень многое. Я пришел в редакцию в качестве автора, еще будучи аспирантом первого года обучения. Журнал обладает особой способностью аккумулировать вокруг себя молодых авторов, которым дает путевку в жизнь. Надо сказать, что многие мои книги выросли из серий статей, которые публиковались на страницах журнала. Поэтому я очень ответственно и заинтересованно отношусь к судьбе этого издания.

Относительно нынешнего состояния культуры и языка я тоже могу привести некоторые примеры.

Так, в Старой Руссе, в одной из школ мы провели опрос 200 учеников – что означает слово “марс”? 192 человека ответили: шоколадный

батончик, семь – планета, и только один сказал: “Марс – это имя бога войны у древних римлян”. Итак, один из двухсот! Это о чем-то говорит.

Нельзя не согласиться со всеми, кто говорил сегодня о расшатывании норм русского языка, о жаргоне, бранной речи, о речевом этикете. Примеров тому – неисчислимое количество. Так, известная певица Татьяна Овсиенко поет душевную песню про шофера-дальнобойщика: “Опять *глядятся* в ночь усталые *глаза*”. Я всегда считал, что глаза могут *глядеть*, а не *глядеться*. А однажды по радио услышал от корреспондента в обзоре прессы: “Все прочесть не успеваю, поэтому оставляю вас на *брудершафт* с газетами”.

Впечатление от всего этого печальное. И ощущение такое же тревожное, как и у В.Ю. Троицкого. Мы находимся на нижней ступени глубочайшей деградации – экономической, политической, духовной, деградации культуры. Ведь государство, общество – это система сообщающихся сосудов. Если тяжело больна экономика, если катастрофически больна политика, то соответственно болеют и культура, и наука, и та часть науки, которая занимается образованием, педагогикой, распространением знаний.

В Гильдии экспертов-лингвистов, выполняя ежемесячно по 10–12 экспертиз по спорным делам, мы видим, как развивается криминализация нашей речи. Это очень опасная тенденция. Даже некоторые политики переходят на блатный язык. Если люди говорят на языке зоны, значит они исповедуют ту систему ценностей и ту систему понятий, которые пришли оттуда же.

В этой связи хочу сказать, что позиция оставшихся островков культуры, а журнал “Русская речь” остается таким островком, должна быть более активной, действенной, наступательной.

А. М. Бруссер,

кандидат педагогических наук
(Театральный институт им. Б.В. Щукина)

Я 20 лет занимаюсь сценической речью. Некоторое время я была консультантом по технике речи на канале “REN-TV”, в мои обязанности входило следить за культурой речи в эфире. Но я оттуда ушла, потому что мои усилия оказались безрезультатными. После каждой передачи я приходила к ведущим с анализом сделанных ошибок, но это не означало, что в следующий раз они не сделают тех же ошибок.

Раньше, например, я считала фразу “казнить нельзя помиловать” просто анекдотичной. Но в жизни сплошь и рядом сталкиваешься с по-

добными случаями. Так, корреспондент читает в эфире: “Земля не в состоянии помочь другим планетам”. Дальше в сообщении следует полный, подробный перечень того, как можно помочь этим самым планетам. Оказалось, что не “земля не в состоянии...”, а “земляне в состоянии...”. Просто при данном прочтении “не” “отъехало” от слова и получилась несуразность.

Вот уже два года я занимаюсь, на мой взгляд, очень продуктивным, интересным делом – веду тренинги по повышению речевой компетентности. Мои слушатели – политики, бизнесмены, среднее и высшее звенья руководящего состава. Разделяя критический пафос сегодняшних выступлений и задавая вопрос “что делать?”, позволю предложить модель: театральная педагогика – журналистика – общество, в которое входят и политики, и бизнесмены, и, конечно, подрастающее поколение. Почему я начала с театрального образования? Потому что именно здесь еще сохраняются традиции преподавания культуры устной речи, именно здесь учат логике устной речи, умению выделить главное слово в сообщении, сделать правильный акцент. Эта практика очень полезна и для радио и телевидения, и для всех, кто стремится к общественно-публицистической деятельности.

О. Е. Фролова,

кандидат педагогических наук

(Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова)

Я остановлюсь на некоторых аспектах своего опыта работы с первокурсниками коммерческого института. Речь пойдет об *агномимах* – значениях слов, которые не до конца известны носителю языка, при этом он их употребляет в своей речи.

Один из примеров – когда текст был назван харизматичным. Я сказала, что не понимаю этого словосочетания, так как *харизматический* употребляется с существительными, относящимися к лицу. Мне попытались объяснить, что это текст, который понравился, чем-то поразил.

Еще одно наблюдение касается выпускников средней школы, когда я проводила среди них опрос, что они думают об ассоциативном портрете в русской литературе. Им были названы 13 классиков и предложены 50 характеристик, которые, с их точки зрения, приложимы или неприложимы к этим писателям. Часть характеристик была выражена иноязычными словами. Оказалось, что вчерашние школьники не знали, что, например, *лаконизм* и *краткость* – синонимы. Лаконизм они приписали одному писателю, а краткость – другому.

Выяснилось также, что в школьном преподавании литературы те формулировки, которые были важны два–три десятилетия назад, сегодня забыты. Например, “непротивление злу насилием”. Спрашиваю: “Понимаете, что это такое?” – “Понимаем”. “К какому писателю это приложимо?” – “Ни к какому”.

Выявилась и некая иерархия классиков с точки зрения их известности выпускникам школ и нынешним первокурсникам. Первое место, естественно, у них занял Пушкин, он собрал наибольшее количество характеристик (“Понимаете, Пушкина нам в школе объяснили лучше всего”). А вот Чехов и Блок оказались малоизученными, малоизвестными этой молодежи. При этом творчеству Чехова была приписана исключительно сатирическая направленность. О чем все это говорит? Конечно, о недопустимо низком уровне преподавания словесности. Это к вопросу о том, с чего начинается культура.

К тем темам, которые были предложены в предыдущих выступлениях для освещения в журнале, я могу добавить следующие.

Во-первых, это язык обиходного, устного общения. За последние годы он, действительно, очень сильно изменился и продолжает меняться.

Во-вторых – язык публичных выступлений. Сейчас мы сталкиваемся с активным использованием языка как инструмента манипуляции, построения недобросовестных аргументаций. Приемов подобного рода довольно много. Один из них отражен в известной песне: “Зато мы делаем ракеты”. Это компенсаторная модель: “у нас не все хорошо, зато...”

И третья тема, которая, мне кажется, была бы тоже интересна, это язык “гламура”. На эту тему меня натолкнул просмотр телепрограмм. Там тоже происходят семантические сдвиги, когда человек, пользуясь языковыми средствами, создает свой мир, отказывается от определенных проблем, затушевывает конфликты, которые могут его расстроить. Такой вот мир комфорта. Неслучайно, это слово так активно вошло в употребление, теперь *удобство* заменилось *комфортом*.

М. Н. Панова,

(профессор Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации)

Прежде всего хочу поздравить журнал “Русская речь” с юбилеем и выразить благодарность за внимание к вопросам профессиональной речи государственных служащих. Ведь государственная служба – это не только сфера профессиональной деятельности, в которой занято более

миллиона работников. Это социальный институт, имеющий свою структуру, свои традиции, модели поведения, в том числе речевого, свою профессиональную культуру.

Профессиональная культура работников сферы государственного управления – административно-политическая культура – включает в себя правовую, кадровую, документационную, организационную, информационную и коммуникативную культуру. Все эти составляющие профессиональной культуры госслужащих находят отражение в их речевом поведении – в частности, в употреблении соответствующей терминологии, официально-деловых клише, специального профессионального жаргона.

Культура служебного общения занимает особое место в структуре профессиональной компетентности современного госслужащего. Она предполагает знание чиновниками правил этики служебного общения и профессионального речевого этикета, владение нормами поведенческой и речевой культуры.

Языковые личности государственных служащих отличает культурно-речевая неоднородность. Все типы языковых личностей государственных служащих, названные нами “отличник”, “борец с языковыми трудностями”, “пассивный формалист”, “агрессивный антиформализатор, нигилист”, можно встретить в различных структурах государственного и муниципального управления. Можно сказать, что культурно-речевая типология языковых личностей государственных служащих – зеркальное отражение состояния культуры (речевой и общей) нашего общества в целом.

Государственных служащих надо целенаправленно обучать культуре профессиональной речи и служебного общения – обучать с позиции коммуникативной целесообразности, предлагая им профессионально ориентированные корректировочные курсы русского языка.

Каждая корпоративная культура представляет собой особый мир. Современная административно-политическая культура находит отражение в профессиональной речи госслужащих и профессиональном общении в целом – в выборе соответствующих языковых средств, профессионально значимых речевых жанров, речевых стратегий и тактик в зависимости от типа и вида служебного общения, от ролей участников общения в служебной субординации, от осознания их принадлежности к “команде”. Поэтому представляется небезынтересным дальнейшее обсуждение на страницах журнала различных аспектов языка корпоративных культур, в том числе вопросов, связанных с областью административно-служебного речеведения.

О. В. Никитин,
доктор филологических наук,
профессор МГОУ

Журнал “Русская речь” занимает особое филологическое пространство в современной культуре и заметно выделяется из подобных по направленности периодических изданий прежде всего своей продуманной, грамотной позицией освещения актуальных проблем языкознания. Достаточно посмотреть на разделы журнала. Они как раз и отражают приоритеты гуманитарных знаний в филологии: “Язык художественной литературы”, “Культура речи”, “Отечественные языковеды”, “Язык и образы фольклора”, “Из истории культуры и письменности” и др. Сотрудники и авторы журнала откликаются на современные спорные тенденции в области языковой политики, дают полновесные статьи о языке прессы и актуальном речевом оформлении социокультуры общества. Таким образом, журнал не замыкается на частных, научно-академических проектах, интересных только определенному кругу читателей, а ориентируется на широкую аудиторию, способную воспринимать и обсуждать разные проблемы, участвовать в “языковом строительстве эпохи”, формировать ее вкус и влиять этим на становление и развитие подлинного филологического просвещения в стране. Именно воскрешению наших славных традиций и посвящены некоторые разделы. Но это не журнал “ретро-публикаций”: все, что печатается на страницах “Русской речи”, проникнуто искренней любовью к родному языку и отечественной словесности. Оттого, наверное, за 40-летнюю историю журнала у него сложились уже поколения читателей и авторов.

Другая черта “Русской речи” – это открытость издания новым авторам, чьи материалы нередко соседствуют с именами маститых ученых-филологов. На его страницах можно увидеть обширную географию публикаций: от Махачкалы до Мурманска, от Смоленска до Сахалина. Периодически публикуются и статьи зарубежных авторов.

Следует сказать и о качестве материалов. Они все, без исключения, читаются с огромным интересом не только потому, что затрагивают живые проблемы, но и потому, что написаны *по-русски*, без обилия подчас непонятной терминологии, сложных речевых оборотов и прочего псевдонаучного новояза. И в этом большая заслуга редакции “Русской речи”, которая с первого номера мужественно следует данной позиции, провозглашает культурные ценности языкового образования (в отличие от инокультурных), не отрекается от наших традиций, развивает и улучшает их.

В заключение хотелось бы выразить, полагаю, от всех авторов “Русской речи” особую благодарность сотрудникам редакции за внима-

ние к нашим работам, за человеческое отношение к личности ученого – филолога, педагога, которыми мы все здесь являемся, наконец, за тот неиссякаемый энтузиазм и подлинную атмосферу творчества, которая царит в редакции и вдохновляет нас на новые статьи.

В заключение дискуссии “Язык и культура” выступил **В.Г. Костомаров**.

Как показали сегодняшние выступления, нас всех беспокоит состояние речевой культуры. Можно различать культуру языка и культуру речи. Не думаю, что русский язык гибнет, что он на грани катастрофы. Вот с речью нашей все обстоит действительно плохо.

Что актуально для общества? Если что-то светлое, доброе, то и язык откликнется на это. А если общество живет интересом к криминалу, темным сторонам жизни, к так называемой “чернухе”, язык тут же предоставит словесный материал для выражения этого интереса. Жизнь заставляет актуализировать некоторые темы, и язык на это соответственно реагирует. Думаю, что не стоит обвинять ни русский язык, ни русскую речь в тех вещах, которые связаны с бедами нашей жизни.

Я, например, хорошо помню довоенные и послевоенные продуктовые магазины. Стояли мешки с мукой, крупой, сахаром. Их насыпали в кульки из бумаги. Сейчас такого не увидишь. “Пакет молока” – это абсолютно нелепое словосочетание для быта тех лет: молоко могло быть или разливное, или в бутылках. **Изменилась форма подачи продукта.** Мы с этим свыклись в быту, но мы никак не можем распространить это на продукт языковой, на информацию, которая передается при помощи языка. А она тоже приобрела другую форму презентации. Информацию мы тоже получаем сейчас не в “кульке”, а в “пакете”, в “пачке”, в “упаковке”. Другими словами, изменилась форма ее реализации. Например, в газете мы не найдем сегодня “подвала”, “передовицы”, очерка – неизменных атрибутов любой газеты в советское время. Их место занимают короткие заметки, анонсы, рекламная информация.

Телевидение весь текстовый продукт, весь поток информации делит на куски – *клипы*. Они непременно краткие и обязательно яркие.

Сразу возникает вопрос – насколько новая “расфасовка” текстов воздействует на их содержание? Трудно ответить на этот вопрос сразу, его надо исследовать, хотя, я уверен, такое воздействие есть, потому что форма небезразлична для содержания. И то, что эта новая форма воздействует и на производителя текста, и на его получателя, – для меня совершенно бесспорно. Иначе говоря, вырабатывается иной тип потребления информации. Например, в Америке сейчас немало исследований проводится по этой теме. Родился и новый термин ADD, означающий расстройство, дефицит внимания. Речь идет о том, что человек, привыкший потреблять информацию в определенной дозировке, от-

вык получать ее длинным потоком, без деления на “клипы”. Именно поэтому нынешняя молодежь не в состоянии “одолеть”, например, “Войну и мир” Л. Толстого, воспринимать классическую литературу, на которой выросло не одно поколение. Современным молодым людям требуется адаптация этих произведений для их восприятия. И это серьезная проблема для образования, педагогики, культуры.

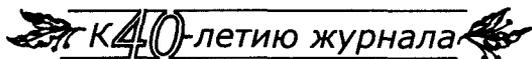
Не отвергая новых навыков потребления информации, молодежи надо объяснять, что существуют и другие – “старые”, выверенные столетиями способы подачи материала; и если молодые люди хотят стать действительно культурными, образованными, они должны овладеть и “старым” способом потребления информации. Правда, для этого потребуются усилия и терпение. Преодоление же преграды окупится сторицей!

Сегодня было высказано немало интересных предложений, тем для освещения на страницах “Русской речи”. Мы обязательно их изучим и учтем в дальнейшей работе.

* * *

В заседании круглого стола “Язык и культура” также приняли участие И.Г. Милославский (профессор МГУ, член редколлегии ж-ла “Русская речь”), Ю.К. Амосов (директор изд-ва “Посев”), С.В. Светлана, Н.И. Клушина, А.В. Николаева, Е.К. Гурова (преподаватели кафедры “Стилистика русского языка” ф-та журналистики МГУ), Н.В. Исаева (МГТУ “МАМИ”).

Спасибо всем!



“В молитве теплой я излился...”

О стихотворной “молитве” в послепушкинской поэзии XIX века

© Л. К. ГРАУДИНА,
доктор филологических наук

Стихотворная “молитва” занимала особое место в системе поэтических жанров XIX века. Связано это было в первую очередь с тем, что христианские идеи, с которыми с детских лет знакомились будущие поэты, обогащали их обостренное художественное чувство, так же как и философское осмысление жизни. Высшая жизнь духа привносила поэтами в мир творчества, соединяясь в нем с христианским мирозерцанием и христианскими идеалами добра и красоты. “Русская поэзия много сделала для утверждения непреходящей ценности человека как личности гуманной, совестливой, честной и благородной. Побуждать человека к добру, к справедливости, к прекрасному – в продолжении этой вечной традиции мирового искусства видели русские поэты свой высокий долг” [1].

Поэты послепушкинского времени увлекались то романтическим шеллингианством и немецкой философией, как Любомудры и романтики 40-х – 60-х годов, то философией критики отвлеченного идеализма Гегеля, как славянофилы, то особой концепцией мировосприятия блестящего религиозного философа и поэта Вл. Соловьева. Но в любом случае в творчестве поэтов золотого века просвечивались черты христианства, что проявлялось и в выборе жанров стихотворений, и в системе поэтических сюжетов, образов, символов, и в характере использования языковых средств.

Христианство было духовным фундаментом поэзии XIX века, ее сквозным началом, которое проходило не как ветер, продувающий пространство, но как свет, пронизывающий и охватывающий самые разные стороны поэтического творчества, либо в форме прозрачно и явно выраженных христианских идей, как у славянофилов; либо в брезжущем слиянии отдельных бликов и просветов, как у поэтов-демократов; либо в “сквозном прогреве” духовной и “небесной” темы, как у романтиков. В этой связи интересные мысли о русской интеллигенции, в том числе и о поэтах, высказывал философ и богослов С.Н. Булгаков, принявший священство в 1918 г. и с двадцатых годов по 1944-й являвшийся профессором догматики и деканом русского Богословского ин-

ститута в Париже. Он писал: “Из противоречий соткана душа русской интеллигенции, как и вся русская жизнь... Нельзя ее не любить, и нельзя от нее отказываться... В страдальческом ее облике просвечивают черты духовной красоты, которые делают ее похожей на какой-то совсем особый, дорогой и нежный цветок, взращенный нашей суровой историей...”. Как важную черту Булгаков отмечал в интеллигенции “напряженное искание Града Божия, стремление к исполнению воли Божией на земле, как на небе”, и они, эти искания и стремления “глубоко отличаются от влечения мещанской культуры к прочному земному благополучию... [2].

Молитва и молитвенное слово всегда были частью русской духовности. Бог в культурном ареале, начиная с первых веков православия, был своеобразным вместилищем морали, гуманистических традиций, питающих искусство, в том числе искусство слова. Таков был и поэтический мир XIX века, который нельзя глубоко понять, если не учитывать и эту сторону сложившихся вековых традиций. Сгущенная эмоциональность, высокий стилистический строй мысли и языка родили религию и поэзию. Не случайно В.Ф. Одоевский утверждал, что в области фантазии поэзия занимает место религии. Это высказывание подтверждается всей молитвенной лирикой, которая “живет” на границе с религиозной сферой и ориентирована на религиозную молитву как на жанровый канон.

Гуманистический пафос поэзии, обращенной к верховному Промыслу и христианской вере, определял самые разные элементы поэтических произведений: заглавие, мотивы, общую точку зрения автора, специфику избранного жанра и, конечно, конкретные языковые структуры, наряду с приемами речевой изобразительности.

Стихотворная “молитва”, хотя в основе своей и по прямому назначению, общей устремленности к Богу, святым и небесным силам нередко сохраняла связь с церковной молитвой, тем не менее была самостоятельным и самобытным художественным произведением. И поэтому качественно отличалась от молитвы как важнейшей составной единицы религиозного культа. Прежде всего стихотворная “молитва” характеризовалась целым рядом существенных признаков, отражающих ее содержательную сторону и коммуникативные особенности. “Перейдя в литературную сферу, поэтическое богообщение начинает жить собственной жизнью, теперь оно подчиняется законам авторского слова и – авторского мировидения, впитывая в себя философские, мистические, эстетические аспекты современности” [3].

Одна из строевых особенностей молитвы заключается в том, что по форме она представляет собой диалог, выражающий неравноправные, иерархические отношения между говорящим и адресатом – Тем, к кому относится молитвословие. Это отражается и в приподнятой стилистике молитвы, и в подборе слов, и в ее звучании. Если в церковной молитве

характер ее конкретного содержания в принятой форме ритуального диалога определяется священнослужителем и закрепленными церковью традициями, то в стихотворной “молитве” отмеченная асимметричная вертикальная организация диалога иная. Диалог ведется от имени лирического героя и обусловлен мотивами и внешними обстоятельствами, которые автор избирает в качестве поэтической темы. Отсюда и проистекают важнейшие различия, существующие между стихотворной и ритуальной молитвой.

Отметим самые существенные из них:

1) по ритмико-просодическому строю молитвы; 2) по адресату; 3) по характеру конкретного содержания и стилистического воплощения молитвы; 4) по жанровым вариантам молитвы и ее экспрессивной направленности.

Что касается ритмико-просодического строя молитвы, уместно вспомнить рекомендации современного “Молитвослова”, советующего соблюдать благоговейное отношение к молитве, совершаемой “пред Всевидающим Богом”. Следует произносить ее “без поспешности и со вниманием сердечным” (см., напр., “Православный молитвослов и псалтирь”. Издание Псково-Печерского монастыря. 1991. С. 3). Текст ритуальной молитвы отличается особым ритмическим молитвенным строем. При чтении молитвы вслух специалисты отмечают “доминирование свойств древней музыкально-тонической системы” и ее особое просодическое воспроизведение. В сегментации речевого потока можно заметить членение молитвы “на симметричные и пропорционально соотносительные минимальные интонационные отрезки”. При молитвенном чтении создается “специфический мелодический контур” и особая структура основных интонационных моделей [4].

В отличие от ритуальной канонической молитвы стихотворная “молитва” с точки зрения ее ритмико-просодических качеств подчиняется только законам стихотворного творчества, правилам метрики и мелодики стиха, выработанным поэтикой на основе живых образцов классической русской поэзии. Обратим внимание, например, на “Утреннюю молитву”, написанную Н.Ф. Щербиной. Приведем лишь ее фрагменты:

Я пал под горем и бедами;
 Мне тяжело нести свой крест, –
 И ропот грешными устами
 Душа готова произнесть...

.....

В молитве теплой я излился,
 Но благ себе не смел просить, –
 Я только плакал и молился,
 Я только мог благодарить.

Это стихотворение написано излюбленным в русской поэзии XIX века четырехстопным ямбом (двухдольная стопа с ударением на втором слоге). Примерно в те же годы (1844–1847) была написана “Молитва” известной поэтессой Ю.В. Жадовской. Вот отрывок из нее:

Мира заступница, Мать всепетая!
Я пред тобою с мольбой;
Бедную грешницу, мраком одетую,
Ты благодатью прикрой...

Здесь использован четырехкратный дактиль (трехдольная стопа с ударением на первом слоге), перемежаемый с двухкратным.

Совершенно в другом ритме написана покаянная молитва А.А. Григорьевым – в двухсложной стопе с ударением на первом слоге (хореем):

Покаяние (из Гёте)

Боже правый, пред Тобой
Ныне грешница с мольбой.
Мне тоска стесняет грудь,
Мне от горя не заснуть.
Нет грешней меня, – но Ты,
Боже, взор не отврати!

Стихотворные “молитвы” писались поэтами разными размерами, но роднились одной чертой. Лирический герой в них относится к Всевышнему, Богоматери или к Ангелу-хранителю с особым чувством – с надеждой, сердечностью и верой... Стихотворная художественная “молитва” такого типа, как и ритуальная христианская молитва, – это общение с Богом или другим высшим существом из христианского верования (Богородицей, Духом Святым, Ангелом небесным и т.д.), ведущееся в форме диалога, отличающегося по своей предназначенности: это обращение от низшего к высшему. Причем разговор велся чаще всего от первого лица, в форме так называемой *Я = молитвы* о самом сокровенном, необходимом и глубоко личностном для молящегося лирического героя. Конечно же, избранный поэтом ритм и размер стихотворной “молитвы” обусловлен индивидуальными качествами поэта и отражал часть его религиозного сознания, его особую молитвенную “музыку души”. Четкий рассудочный элемент уступал в этом случае эмоциональному духовному опыту личности.

В поэтике стихотворной “молитвы” особую роль играл адресат. Молитвенная форма самовыражения в немалой степени была связана с привнесением светского и внеритуального поэтического элемента и в

содержание стихотворной “молитвы”, и в наименование адресата, к которому обращается лирический герой или героиня. Во многих случаях стихотворная “молитва” была максимально приближена к ритуальной и по адресату, и по выраженной в ней высокой христианской и эмоциональной ноте, и по языку. Такова, например, просительная “Молитва” Я.П. Полонского:

Отче наш! Сына *моленью* *внемли!*
 Все проникающую
 Все созидющую
 Братскую дай нам любовь *на земли!*
Сыне! Распятый во имя любви!
 Ожесточаемое
 Оскудеваемое
 Сердце ты в нас освежи, *обнови!*
Дух Святый! – Правды источник живой!
 Силы дай страждущему:
 Разуму жаждущему
 Ты *вожделенные тайны* открой!

В тексте курсивом выделены все церковнославянские элементы “молитвы”, сближающие ее с религиозным ритуальным жанром. Вместе с тем концовка этого стихотворения отражает те гражданские тревоги и душевные метания поэта как сына своего времени, когда призывы к “святой борьбе” все чаще звучали в поэзии демократов. Приведем последнюю строфу “Молитвы”:

Вставших *на глас Твой* *услыши мольбу!*
 И *цепенеющую,*
 В *лени коснеющую*
 Жизнь *разбуди на святую борьбу!*

По контрасту с этим стихотворением можно привести два других, написанных поэтом М.И. Михайловым (1829–1865). Творчество Михайлова было разнообразно по стилистике и жанрам, и одним из его излюбленных был жанр антологических стихотворений. “Стих Михайлова музыкален, ясен, эмоционален”, по словам литературоведа П. Фатеева. Эти качества проявились, в частности, и в стихотворных антологических “молитвах”, написанных по мотивам лирики античных поэтов.

Приведем две из них:

Молитва

Зевс, дай добра мне, хотя б я его не просил у бессмертных;
 Зло отврати от меня, если б молил я о нем!

Мольба

Что бы просил ты у Зевса, великого бога вселенной,
 Если б из урны судеб жребий выбрать ты мог?
 Дар сладких песен просил бы и сильно разящее слово:
 Словом порок поражать, песнью сердца умилять.

1848

В этих обращениях сохраняется характерное для молитвы противопоставление, с одной стороны, создателя Вселенной, высшего разума и, с другой стороны, просящего у него милостей более слабого существа – человека с его греховными помыслами, страстями, просьбами, надеждами...

Обращает на себя внимание смена наименования адресата, и это обусловлено особыми художественными задачами поэта.

Достаточно четко выраженная, монолитная композиционная основа жанра стихотворной “молитвы” привлекала поэтов одной своей возможностью: в емкой поэтической форме выразить возвышенные чувства, создать художественные образы, семантико-стилистическим центром которых становились некие божественные сущности, представленные воображением поэта даже и в форме олицетворений: *истина, разум, надежда* и т.д.

Так, Н.И. Тургеневым написана молитва, в которой в качестве адресата избрана *Истина*:

Приди, о Истина, и поселись меж нами.
 Приди, искорени вгнездившийся порок,
 Содейлай, чтоб враги нам сделались друзьями,
 И чтоб невинного не гнал уж больше рок.

Поэтесса Ю.В. Жадовская, воспевая возвышенные духовные начала, в стихотворении “Молитва” (1858–1859 гг.) широко использовала художественные переносы:

*Дух премудрости и разума, и силы,
 Всеобъемлющей, божественной любви!*
 Нас, заглохших в суете, помилуй
 И своим дыханьем оживи!

О, Дух жизни, света и свободы!
 На сердца жестокие повеи!
 Просвети заблудшие народы,
 Свет и жизнь на страждущих пролей!

В семантическом плане все приведенные в качестве иллюстрации “Молитвы” в церковной ритуальной традиции назывались бы **проси-**

тельными. В них содержится прямая просьба. В составе речи в этом случае широко применяются императивные глагольные формы: *спаси, помилуй, исцели, научи, просвети, оживи, сердце обнови, зло отврати* и т.д.

В поэзии широко использовался и другой вариант молитвы – **молитвы призывательной**. В молитве призывательной семантико-смысловая форма несколько видоизменяется – в ней подчеркивается обращение к Богу или к Божественным силам лишь с призывом придти и откликнуться на зов. Так, призыв к достижению благословенного, благодатного молитвенного состояния выражен в стихотворении “Сладость молитвы” (1854), написанном И.С. Никитиным:

Бывают минуты, – тоскою убитый,
 На ложе до утра без сна я сижу,
 И нет на устах моей теплой молитвы,
 И с грудью на образ святой я гляжу.

.....

И вспомню я крест на Голгофе позорной,
 Облитого кровью Страдальца на нем,
 При шуме и кликах насмешки народной
 Поникшего тихо покорным челом.

И страшно мне станет от этих видений,
 И с ложа неволью тогда я сойду,
 Склоню пред иконой святою колени
 И с жаркой молитвою ниц упаду.

.....

И в душу прольется мне светлая радость,
 И смело на образ тогда я взгляну,
 И, чувствуя в сердце какою-то сладость,
 На ложе я лягу и крепко засну.

Оригинальна и призывательная “Молитва природы”, написанная не позднее 1857 г. поэтом В.Г. Бенедиктовым. В ней природа наделена человеческими чувствами, мыслями и речью:

Я вижу целый день мучение природы:
 Ладьями тяжкими придавленные воды
 Браздятся, сочных трав над бархатным ковром
 Свиристствует коса; клонясь под топором,
 Трещит столетний дуб в лесу непроходимом...

.....

Вот мельница – изволь нам крылья их вертеть!
Дуй в наши паруса! – природа помолиться
Не успевает днем предвечному творцу...
.....

Вот вечер, вот и ночь, – и небо с видом ласки
Раскрыло ясных звезд серебряные глазки,
А вот и лунный шар, – лампада зажжена,
В молельню тихую Земля превращена;
Замолкла жизнь людей, утихла эта битва...
Природа молится. Да – вот ее молитва!

Литература

1. *Кременцов Л.П.* Несколько слов о поэзии // Русские поэты II половины XIX в. М., 2004. С. 4.
2. *Булгаков С.Н.* Героизм и подвижничество // Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1990. С. 72.
3. *Афанасьева Э.М.* Предисловие // Русская стихотворная “молитва” XIX века. Томск, 2000. С. 8.
4. *Прохватилова О.А.* Речевая организация звучащей православной проповеди и молитвы. РКД. М., 2000. С. 21–22.

Окончание следует

“Москва женского рода, Петербург мужского”

© Н. Г. БАБЕНКО,
кандидат филологических наук

*Две царицы, две столицы,
Две исписанных страницы...*
А. Битов

*И Москва и Петербург пытаются
вырваться из своих исторических
мифологем.*

В. Шубинский

Пытаясь образно передать характер каждой из двух российских столиц, Н.В. Гоголь в “Петербургских записках 1836 года” прибегнул к их персонализации: представил Москву и Петербург как разнополюые персонажи на том основании, что при олицетворении грамматический женский род соотносится с женским полом, а мужской род – с мужским полом. А.Н. Гвоздев резонно заметил по этому поводу: “Совершенно естественно, что русский язык с его распределением существительных по родам препятствует тому, чтобы представить Москву лицом мужского пола и, наоборот, Петербург – женского” [1]. Согласно Я.И. Гину, “лингвопоэтический признак пола, индуцируемый при олицетворении, есть... *текст* (курсив наш. – Н.Б.), созданный на языке грамматической категории рода” [2].

Наша статья посвящена анализу развития в русской литературе *текста* женственной Москвы и мужественного Петербурга, первая страница, а лучше сказать – матрица которого была создана Гоголем: “Москва – старая домоседка, печет блины, глядит издали и слушает рассказ, не поднимаясь с кресел, о том, что делается на свете. Петербург – разбитной мальч, никогда не сидит дома, всегда одет и похаживает на кордоне, охорашиваясь перед Европою, которую видит, но не слышит... Москва женского рода, Петербург мужского. В Москве все невесты, в Петербурге все женихи”.

В этом фрагменте содержится несколько словесных “свидетельств” того, что Москва персонализируется классиком как женщина: во-первых, “в Москве все невесты”, то есть Москва – город женщин; во-вторых, Москва – “домоседка” (суффикс -к имеет в данном случае значение лица женского пола); в-третьих, ситуация выпекания блинов провоцирует возникновение у читателя образа женщины – кухарки, кулинарки,

рачительной и гостеприимной хозяйки. Признак пассивности (“домоседка”, “не поднимаясь с кресел”) также может быть интерпретирован как признак женскости с учетом архетипической корреляции *пассивное: женское/ активное: мужское*.

Персонализация Петербурга как мужчины словесно закреплена предложением “в Петербурге все женихи” (то есть Петербург – город мужчин), субстантивом “малый”, а также языковыми средствами с общим значением активности: прилагательным “разбитной” в значении “энергичный”, предложением “никогда не сидит дома” и многократным глаголом “похаживает”. Полярностью характеристик *мужское: активное/ женское: пассивное* обеспечивается противопоставление образов, характеров двух столиц.

Гоголевский прием персонификации и выраженного посредством нее противопоставления Москвы и Петербурга получил дальнейшее развитие в произведениях Е. Замятина “Москва – Петербург” (1933) [3] и А. Битова “Вольная птица” (1998) [4].

Замятин начинает свое эссе (риском так определить жанровую принадлежность анализируемых произведений Замятина и Битова) прямой цитатой: «“Москва – женского, Петербург – мужского”, – писал Гоголь ровно сто лет назад. Это – как будто случайно брошенная шутка, грамматический каламбур, но в нем так метко подсмотрено что-то основное в характере каждой из двух русских столиц, что это вспоминается и теперь, через сто лет» [3. С. 106]. Но Замятин не просто вспоминает гоголевский “грамматический каламбур”, он приводит новые свидетельства женской природы одного города и мужской – другого, порожденные культурным развитием пред- и послереволюционных лет, и тем самым развивает заявленное Гоголем. Так, приметой женственности Москвы, по мнению Замятина, являются:

– свойственная столице безоглядность увлечения всем новым, модным, в том числе и революцией: “Москва отдалась революции стремительней, безоглядней, покорней, чем Петербург. Да и как же иначе: победившая революция стала модой, а какая же настоящая женщина не поторопится одеться по моде?” [3. С. 106];

– расцвет театрального искусства именно в Москве как идеальном театральном лоне – аналоге жизнотворного женского лона: «Театр начинает жить только с того момента, когда он оплодотворен мужским началом – драматургом; актер только тогда становится настоящим артистом, когда он до конца отдается выбранной роли; режиссер – только опытный воспитатель, по-своему формирующий в ребенке заложенную автором наследственность. И если “Москва – женского рода, а Петербург – мужского”, то где же, как не в Москве, театру было найти наиболее благодарную почву?» [3. С. 107];

– появление именно в Москве, по-женски эмоциональной, импульсивной, русского футуризма – «течения прежде всего эмоционального,

“женского»» [З. С. 110]. «Это не был, впрочем, серьезный бунт, это была скорее взбалмошная, истерическая выходка (“Москва – женского рода” – подшучивал Гоголь): в Москве под заглавием “Пощечина общественному вкусу” был опубликован (1912) первый манифест русских футуристов, предлагавший “Пушкина, Достоевского и Толстого – выбросить за борт корабля современности”, не говоря уже о “всех этих Горьких, Блоках, Сологубах, Буниных и прочих”» [З. С. 110];

– возникновение именно в Москве (по вышеназванной причине) моды на “новейшую” живопись “пролетарских художников” и сменивших их “ахровцев” («от “Ассоциации Художников Революции”» [З. С. 107]).

Как видим, замятинская Москва-женщина мало похожа на гоголевскую, выказывающую свою женскую природу через характеристики, свойственные русской купчихе или помещице – “домашней”, хлебо-сольной, малоподвижной, “неловкой” и “безвкусной”, со спокойной заинтересованностью внимающей рассказам о диковинах “белого света”. Воспользовавшись матрицей приема Гоголя, Замятин создает образ новой – молодой (шестнадцатилетней) Москвы, не берегущей старое, живущей в погоне за “новейшим”, революционным, будь то революция социальная, театральная, литературная или живописная. Эта молодая Москва не “глядит издали и слушает рассказ”, она “стала дверью, через которую с Востока, сквозь Азию, хлынула в Россию Америка” [З. С. 106].

Иначе, нежели у Гоголя, выглядит и замятинский персонифицированный Петербург. К мужским качествам этого города автором отнесены:

– “мужское хладнокровие”: “Петербург принимал новое без такой торопливости, с мужским хладнокровием, с большой оглядкой. Он шел вперед медленней, и это понятно: ему приходилось нести с собой тяжелый груз культурных традиций, особенно ошутительных в области искусства” [З. С. 106];

– строгость: «Петербург строже: он и теперь, как во времена Гоголя – “не любит пестрых цветов”» [З. С. 106];

– скептицизм по отношению к “новейшему” и приверженность культурной традиции: «...здесь был другой дух, более “мужской”, более скептический, более склонный строить новое не на опустошенном догола пустыре, а на фундаменте прежней, западной культуры, хотя бы она и называлась страшным именем “буржуазной”» [З. С. 110].

Петербург Замятина – город с мужским характером, упорно и последовательно защищающий культурные основы российской жизни. Он нисколько не похож на гоголевского “разбитого малого”, теперь он стойкий хранитель великой литературы, архитектуры, музыки, науки, во все времена стремящийся держать открытым “окно” в европейскую культуру.

Концептуальной идеей и главным композиционным принципом эссе Битова “Вольная птица” является “извечная русская парность: <...> Юг – Север; Восток – Запад; суша – море; Иван Грозный – Петр Первый; Москва – Петербург; Маркс – Энгельс; Сталин – Ленин; Лермонтов – Пушкин; Толстой – Достоевский; Фет – Тютчев; Чайковский – Мусоргский; Хлебников – Блок; Цветаева – Ахматова; Пастернак – Мандельштам; Фрейд – Павлов; Москва – Ленинград; Булгаков – Зошенко; Платонов – Набоков; Прокофьев – Шостакович; Высоцкий – Бродский; Венчикка – ...” [4. С. 474–475]. Заметим: Ю.М. Лотман также видит в бинарности ведущую черту русской культуры [5]. В ряду приведенных пар Битов обнаруживает четкое и последовательное распределение: “Так это же все Москва – Петербург! Петербург – Москва! Если кто-нибудь сочтет Маркса – Энгельса – Фрейда нерусскими людьми, то ошибется. Живи они в России, Энгельсу бы пришлось быть петербуржцем” [4. С. 475].

Противопоставлению двух столиц служит в эссе Битова гоголевский прием контрастной персонализации двух столиц: «“Москва не сразу строилась”, – гласит пословица. И это не только народная мудрость, но и констатация факта. Это Петербург построили сразу; Москва же росла восемь с половиной веков вокруг Кремля и Красной площади, росла (и растет) как дерево: ветви, веточки, листочки... “На Красной площади всего круглей Земля...” – напишет тот же Мандельштам. <...> Росла как дерево – разрослась как баобаб. “У кого под рубашкою хватит тепла, чтоб объехать всю курву-Москву?” – опять Мандельштам. Курва... баобабища... Москва – женского полу. Другое дело – Петербург! Мужского пола. “Москва невестится, Петербург женихается”, – гласит пословица. Тоже трезвое наблюдение» [4. С. 472].

Олицетворение Москвы “произрастает” у Битова из “древесного” тропа: Москва “росла (и растет) как дерево: ветви, веточки, листочки” > “росла как дерево – разрослась как баобаб” > “баобабища”. Индивидуально-авторское слово “баобабища” объединяет в себе значения “женскости”, огрубленное со значением мотивирующего новообразования существительного “баба” и контактом с бранной характеристикой “курва”, и параметрическое значение быстро растущей большой величины, объема, продублированное мотивирующим существительным “баобаб” и увеличительным суффиксом субъективной оценки *-иц*.

Характер Москвы-“баобабищи” суровее, чем у гоголевской домохозяйки, пекущей блины: «“Москва слезам не верит”. Ей не до тебя. Ты не один – таких много. Вот форма одиночества! – проглотит и не заметит» [4. С. 472].

“Мужеский пол” Петербурга в эссе Битова проступает:

– в “мужских” мотивирующих основах имен города: Санкт-Петербург “отсылает” нас к святому Петру, Петербург соотносим и со святым покровителем города и с далеким от святости его основателем, Ле-

нинград – с Лениным, который на броневике у Финляндского вокзала, как и Петр Первый на Сенатской площади, “простирает руку в сторону великого будущего” [4. С. 468];

– в именах мужских персонажей, определяющих “лицо” литературного Петербурга: «Город был заложен Большим Человеком не для человека, а для будущего русского литературного героя (“маленького человека”) – Евгения, Башмачкина, Мышкина...» [4. С. 471].

По словам А.А. Потебни, “о том, имеет ли род смысл, можно судить лишь по тем случаям, где мысли дана возможность на нем сосредоточиться, то есть по произведениям поэтическим” [6]. Проанализированные в статье поэтические в широком понимании этого понятия произведения Гоголя, Замятина и Битова доказывают смысловую плодотворность сосредоточения художественной мысли на грамматическом роде топонимов *Москва* и *Петербург*. Время неизбежно стирает одни, добавляет другие черты в портретах обеих российских столиц, но оно не способно отменить женскую природу Москвы и мужскую – Петербурга. Одним из доказательств этого является долгая жизнь гоголевского приема олицетворения главных городов России.

Литература

1. *Гвоздев А.Н.* Очерки по стилистике русского языка. М., 1965. С. 122.
2. *Гин Я.И.* Проблемы поэтики грамматических категорий. СПб., 1996. С. 196.
3. *Замятин Е.* Москва – Петербург // Наше наследие. 1989. № 1.
4. *Битов А.* Вольная птица // Битов А. Путешествие из России. М., 2003.
5. *Лотман Ю.М.* Культура и взрыв. М., 1992. С. 268.
6. *Потебня А.А.* Из записок по русской грамматике. Т. 3. Харьков, 1899. С. 616.

Калининград



“...Чувствовать, любить, ненавидеть...”

О поэтике “Жизни Арсеньева” И.А. Бунина

© Е. Г. БЕЛОУСОВА,
кандидат филологических наук

О жанровом своеобразии “Жизни Арсеньева” написано немало. Среди исследований последних лет на эту тему отметим работы Т. Сидяковой, характеризующей бунинский роман как лирический [1]; Ю. Мальцева, называющего “Жизнь Арсеньева” феноменологическим романом [2], Л. Колобаевой [3] и Н. Працгерук [4], изучающих художественную форму романа в том же литературно-философском русле; В. Заманской, определяющей жанр “Жизни Арсеньева” как “экзистенциальную биографию” [5], М. Штерн, раскрывающей жанровый синкретизм бунинского произведения – “динамическое равновесие” в нем различных жанровых тенденций и черт: автобиографического романа, исповеди, европейского романа о художнике и даже поэмы [6].

Однако, несмотря на множество мнений и определений, все литературоведы сходятся в главном – бунинское повествование открывает не столько сам мир, сколько образ внутренней реакции на него человека. Да и дневники писателя со всей полнотой и достоверностью убеждают в том, что его художественная воля и фантазия возникают и формируются именно в сфере эмоциональной стихии. Например, он цитирует Гете: “Gefühl ist alles! – *чувство – все*” (курсив наш. – Е.Б.), – причем чужая формула жизни получает в его тексте чисто бунинское, предельно акцентированное истолкование: “Действительность – что такое действительность? *Только то, что я чувствую*. Остальное – вздор”. Еще в большей степени главный импульс творчества художника объясняет толстовская мысль, которую Бунин записывает опять-таки с “поворотом” к своему способу освоения действительности. “Я как-то физически чувствую людей”, – признавался Толстой. “Я все *физически чувствую*. Я настоящего художественного естества” – это признание Бунина [7]. Еще в ноябре 1921 года художник пишет строки, говорящие о его страстной мечте начать “книгу *ни о чем*, без всякой внешней связи, где бы *излить свою душу*, рассказать свою жизнь, то, что довелось видеть в этом мире, *чувствовать, любить, ненавидеть*” [7]. Эти строки открывают не только лирическую природу таланта Бунина, но и своеобразие его восприятия действительности, основанного на дихотомии “притяжение – отталкивание”; об этом писали, например, Ф. Степун и О. Сливичкая, Ю. Мальцев, характеризуя мироощущение художника с помощью оксюморонных формул (“восторг печали”, “мажорный трагизм”) [8]. Именно такое, лирико-антиномичное видение и изображение действительности, необычайно мощно проявившееся особенно в “Жизни Арсеньева”, придает, на наш взгляд, неповторимую стилевую окраску художественному миру Бунина.

При всей своей целостности этот роман поражает бескрайней открытостью, о чем говорят эпитеты с соответствующим значением (*неоглядная синяя бездна, безграничное снежное море, беспредельный океан хлебов*), “пространственная” лексика (*глубина, ширь, даль, простор*) и множество географических названий, усиливающих протяженность бунинского мира, замкнутого и в то же время “разомкнутого”, беспредельного.

Как справедливо замечает М. Штерн, пространство Бунина – это всегда “пространство взгляда, пространство субъективного восприятия” [9]. И мы видим, что “открытая” широта бунинского топоса страшит человека, но и вызывает восхищение: “Почему с детства *тянет человека даль, ширь, глубина, высота, неизвестное, опасное*, то, где можно размахнуться жизнью, даже *потерять ее...*” (С. 19).

Постепенно это сложное ощущение бесконечности открываемого мира в “Жизни Арсеньева” все больше нарастает и, наконец, обретает максимально лаконичную в своем двуединстве форму воплощения, в

которой мы наиболее явно улавливаем своеобразие стиля Бунина и его основного закона – принципа оксюморонного сопряжения.

Заостряя и углубляя свойственную ему поэтику контрастов, художник акцентирует как столкновение, так и совмещение противоположностей. Неслучайно такими значимыми в романе становятся слова “связь”, “смешение”, “соединение”, сближающие многое, далекое, включающее друг друга: на лице арестанта Арсеньев видит “смешение глубочайшей тоски, скорби, тупой покорности и вместе с тем какой-то страстной мечты”; понятие о Боге герой приобретает “вместе” с понятием о смерти: “Смерть, увы, была как-то соединена с ним <...> Соединено с ним было и бессмертие” (С. 12, 24). Впоследствии мысль о сопряжении как основе авторской поэтики выливается в обобщенную формулу: “И во всем была смерть, смерть, смешанная с вечной, милой и бесцельной жизнью!” (С. 91).

И вновь драматическая двойственность действительности передается через ощущения и переживания героя: уже в первой книге она интуитивно схватывается детским сознанием Алеши Арсеньева. С восторженным удивлением мальчик вглядывается, вслушивается во все то, что открывается ему в жизни: “С каким блаженным чувством, как сладострастно касался я этого сафьяна, и этой упругой, гибкой ременной плеточки!”, “Какой это непередаваемо-очаровательный звук – звук натачиваемой косы”; “...глядя на ту дивную, переходящую в лиловое синеву неба” (С. 11, 20, 29) и т.п.

И вместе с тем в этом великолепии окружающего мира он инстинктивно, но очень точно улавливает второй, враждебный, план: в разбойнике “было нечто страшное, но и чарующее, сказочное”; “зимний вечер с ужасным и очаровательным снежным ураганом за стенами” (С. 12, 14). И вот в конце первой книги появляется фраза, выражающая суть восприятия мира маленьким Арсеньевым: “Я то и дело ужасался и дивился, но что же я мог?” (С. 48).

При этом ощущение нераздельности “неслиянных” эмоций, помимо лексических и контекстуальных антонимов, писатель передает с помощью синтаксических средств, например, совмещая в простом предложении разделительное тире с соединительным союзом и: “Мне хотелось поцеловать, прижать его к сердцу – и затем во что-нибудь вонзить, всадить по рукоятку”; “Радость, нетерпение – и мальчишеский стыд, когда наконец тележка останавливается возле крыльца” (С. 29, 169).

В последующих книгах романа полярность оценок мира усиливается. Для определения своего эмоционального состояния Бунин уже сознательно ищет иные словарные формы, не только широко, всеохватно, но и решительно, динамично открывающие разводяще-сопрягающий характер его стиля, а сквозь него – противоречивое единство мироздания. Так, в тексте возникает синонимический ряд эпитетов-оксюморонов,

где сращение лексем-антонимов становится особенно напряженным, поскольку одно существительное определяется сразу двумя контрастными прилагательными: “дивно и ужасно то, что было вчера”; “сладкая и горькая грусть”, “сладкое и скорбное чувство родины”. Причем несоединимость соединяемого прекрасно осознается автором и акцентуруется: “И *страшное, кощунственное соединение* в мыслях: богоматерь и она...” (С. 243).

Еще отчетливые сущностные свойства творимой Буниным реальности в тексте романа проявляют глаголы со значением присоединения, особенно *входить* и *сливаться*. Они раздвигают горизонты изображаемой действительности, включая в поле лирического зрения все новые и новые элементы (разные по своей сути и по-разному ощущаемые автором), эти глаголы собирают ее воедино, способствуют созданию “интегрального” образа мира, несущего в себе идею разносоставной и даже **антиномичной целостности**: “*Великий простор, без всяких преград и границ, окружал меня: где в самом деле кончалась наша усадьба и начиналось это беспредельное поле, с которым сливалась она?*” (С. 36).

Но не менее целенаправленно Бунин расширяет в “Жизни Арсеньева” и метафизическое пространство – “пространство жизни” (Н. Працераук), множит и разнообразит формы ее существования: “жили своей лошадиной жизнью лошади”, “затаенная жизнь перепелов”, “мужская утренняя жизнь”, “чь-то чужая, манящая жизнь” и т.п. И снова ряд разнокачественных определений открывает диссонансное единство бунинского понятия “жизнь”: явная – и скрытая, чужая – но притягательная.

Позже “сращение” противоположных сторон жизни и ее оценок осуществляется художником еще активнее и, наконец, получает свою максимально проявленную словесно-стилевую выраженность. “Что же такое моя жизнь?” – вопрошает главный герой романа и сам себе отвечает: “жизнь (моя и всякая) есть *смена дней и ночей, дел и отдыха, встреч и бесед, удовольствий и неприятностей*”; есть “непрестанное... течение *несвязных чувств и мыслей, беспорядочных воспоминаний о прошлом и смутных гаданий о будущем*; а еще – нечто такое, в чем как будто и заключается суть ее, некий смысл и цель, *что-то главное, чего уж никак нельзя уловить и выразить*” (С. 131).

Таким образом, слово “жизнь” становится, как пишет В. Заманская, “сверхконтекстным, экзистенциальным” [10], превращаясь из жизни Арсеньева в жизнь вообще [11], и добавим: самое главное – открывая при этом свою **внутреннюю контрастность** – явную или подразумеваемую, но обязательно **нерасторжимую**.

Тонкая “стилевая работа” Бунина по мере создания текста “Жизни Арсеньева” все больше сосредоточивается на описании всевозможных **переходных и промежуточных** состояний природы, внутренне тяготеющих друг к другу противоположностей. Так, в первой книге романа динамическая сущность бытия, лишённого застывшей определенности,

открывается главным образом во внешнем своем проявлении, выражаясь, например, эпитетами, подчеркивающими недовольство признака (“предосеннее солнце”, “холодеющая трава”, “весенний, чуть зеленеющий сумрак”) или глаголами несовершенного вида, передающими действие, лишённое своего завершения: “Вот вечереет летний день”; “воздух все тяжелеет и тускнеет”; “село солнце, и стало темнеть” и т.п.

Кроме того, пока в центре внимания Бунина находится сам процесс преобразования. Отсюда – множество глаголов переходной семантики и производных от них: “смутно почувствовал, что в моей жизни наступил какой-то *перелом*, и, может быть, к худшему”; “Надя уже *превратилась*... только в прекрасное воспоминание” (С. 26, 41) и т.п. Хотя тенденция к более тесному сближению “разного” – его **сопряжению** – в первой книге “Жизни Арсеньева” тоже дает о себе знать. Например – в интенсивном использовании автором синтаксических конструкций с повторяющимися союзами, выражающими семантическое различие явлений и в то же время снимающими его: крапива – “и глухая, и гнучая”, “ветерок *то* совсем упал, *то* дул мягким сухим зноем, усиливался” (С. 16, 44) и т.п. Эту же идею **разъединенной соединенности** еще сильнее проявляя определения *иной, новый*, открывающие в предмете какие-то другие, незнакомые стороны и тем самым уводящие за его поверхность к глубинной сути: “На скотном дворе по-утреннему *ново* скрипят в это время ворота”; “мать и нянька еще тосковали, часто говорили о ней, но уже как-то *по-иному*, чем прежде – иногда даже с улыбками” [С. 20, 41] и т.п.

В следующих книгах романа ориентация Бунина на изображение подчеркнута разного, но стремящегося к согласию, становится еще более очевидной, что подтверждает особенно настойчивое привлечение автором не только повторяющихся союзов, но и союзов присоединения: “Сад *то* сиял жарким солнцем и гудел пчелами, *то* стоял в какой-то голубой тени”; “в этом огромном бархатно-фиолетовом ящике лежит нечто священное, но *вместе с тем* и непристойно-земное, непотребное”; “Все летит, спешит – и *вместе с тем* точно стоит и ждет” (С. 125, 95, 179).

Еще острее схватывается Буниным сложная **глубинная сущность** всего изображаемого: “вот они, осторожно, с полуулыбками, пробираются в толпе – и сердце обрывалось *родственно и как-то неловко и удивленно: оне и не оне, те и не те*. Особенно она совсем не та!” (С. 190).

Так признание сложности и неоднозначности жизни приводит Бунина к представлению о ней как о непостижимой тайне, влекущей к себе и одновременно заставляющей, по словам Ю. Мальцева, “останавливаться в изумлении и восторге перед ней” [12]. И потому ключевым, организующим и поэтику, и содержание в “Жизни Арсеньева” становится **мотив тайны**. Неоднократно возникая в тексте, он каждый раз выступает в новом варианте.

В первой книге тайна чувствуется буквально во всем (“затаенная жизнь перепелов”, “таинственная чернота сада” и т.п.): ведь каждый новый предмет, даже самый обыденный, кажется для ребенка загадкой. Начальная часть романа буквально перенасыщена вопросительными предложениями, поддерживающими атмосферу безмерного удивления. Благодаря этому мы улавливаем звучание мотива неразгаданной жизни уже на самой первой странице “Жизни Арсеньева”: «А родись я и живи на необитаемом острове, я бы даже и о самом существовании смерти не подозревал. “Вот было бы счастье!” – хочется прибавить мне. Но кто знает? Может быть, великое несчастье. Да и правда ли, что не подозревал бы? А если нет, если бы не подозревал, любил ли бы я жизнь так, как люблю и любил?» (С. 7).

Однако уже в следующих книгах романа (особенно в четвертой) от обнаружения множества загадочных (при всей их конкретности) предметов и явлений автор движется к постижению тайны как глубинной и неизменной сущности жизни вообще. Отсюда – преобладание в тексте романа абстрактной лексики и слов обобщающего характера: “Но что тайло в себе *это бесконечное*? В загадочности и непонятности *всего окружающего* было что-то даже страшное” (С. 129), – и далее: “непонятный, вечный и огромный мир”, “и во всем непонятная прелесть”.

Кроме того, если в первой книге *таинственное* притягивает к себе героя (“*тайный восторг*”, свадьба как “*радостное таинство*”, в сказках “самыми пленительными были слова о *неизвестном* и *необычном*” [С. 19]), то позже оно все более ощутимо проявляет свою враждебность по отношению к человеку. Как следствие доминантными в тексте становятся мотивы страшной и мучительной тайны: “всю ночь шумело море – довременно, дремотно, с *непонятным угрожающим величием*”; “ее *тайные*, неизвестные мне и, главное, печальные чувства и мысли”; “*тайная боль* о прожитом сроке жизни” (С. 153, 233, 132) и т.п.

Пятая книга бунинского романа отличается еще и тем, что *тайное* получает в ней более разнообразное лексическое воплощение. Автор целенаправленно множит и нагнетает в тексте семантически близкие слова (*загадочное, тайное, недосказанное, странное, сокровенное, непонятное* и т.п.), подчеркивая неоднозначность этого ключевого для его произведения понятия и принципиально уходя от очевидности и упрощения в изображении действительности. Поэтому вновь – даже с большей активностью, чем в первой книге – он описывает мир посредством вопросительных предложений, подвергая сомнению любую аксиому или просто категорическое высказывание: “Ужасна жизнь! Но точно ли ужасна? Может, она что-то совершенно другое, чем ужас”; “Наблюдения народного быта? Ошибаетесь, – только вот этого подноса, этой мокрой веревочки!” [С. 200, 201].

Об усложнении, интенсификации стилевой структуры и стилового видения Бунина в заключительной части романа свидетельствует и явно возросшее число грамматических образований с неопределенной или отрицательной семантикой: неопределенных местоимений, глаголов с отрицательной частицей *не* – “не могу знать”, “не могу выразить”, предельно высокая концентрация всех этих форм, как в целом тексте, так и в одном предложении. Например: “...иногда *какое-нибудь* мое представление *о чем-нибудь* вызывает во мне такое мучительное стремление туда, где мне *что-нибудь* представилось, то есть к *чему-то* тому, что за этим представлением, – понимаешь: за! – что *не могу* тебе *выразить!*” (С. 232).

Доминантным принципом авторской поэтики в романе “Жизнь Арсеньева” оказывается принцип “разведения–сопряжения”; стиль Бунина, разводящий и собирающий картину не только внешнего бытия, но и внутреннего мира личности, позволяет ему если не раскрыть, то вплотную приблизиться к разгадке тайны человеческого существования. Все это и делает, на наш взгляд, “Жизнь Арсеньева” одним из вершинных произведений русской литературы 1920–1930-х годов.

Литература

1. Сидякова Т. Жанровое своеобразие романа Бунина “Жизнь Арсеньева” // Содержательность форм в художественной литературе. Самара, 1991. С. 70–84.
2. Мальцев Ю. Иван Бунин: 1870–1953. М., 1994. С. 302–321.
3. Колобаева Л.А. От временного к вечному. Феноменологический роман в русской литературе XX века // Вопросы литературы. 1998. Май–июнь. С. 132–145.
4. Працгерук Н.В. Художественный мир прозы Бунина: язык пространства. Екатеринбург, 1999. С. 84–135.
5. Заманская В.В. Русская литература первой трети XX века: Проблема экзистенциального сознания. Екатеринбург, 1996. С. 273–309.
6. Штерн М.С. Проза И.А. Бунина 1930–40-х годов. Жанровая система и родовая специфика. Автореферат диссертации на соискание учен. степени доктора филол. наук. Екатеринбург, 1997. С. 13–22.

7. Бунин И.А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. М., 1988. С. 435, 437. В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться в тексте в скобках с указанием только страниц пятого тома.
8. См.: Степун Ф. Бунин и русская литература // Бунин И.А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 1. М., 1993. С. 15; Сливацкая О.В. Основы эстетики Бунина // И.А. Бунин: Pro et contra. СПб., 2001. С. 458.
9. Штерн М. Указ. соч. С. 38, 39.
10. Заманская В.В. Указ. соч. С. 227.
11. Там же. С. 275.
12. Мальцев Ю. Указ. соч. С. 136.

Челябинск





Звук и образ в прозе Е.И. Носова

© С. В. МОЛЧАНОВА,
кандидат искусствоведения

Евгений Иванович Носов признавался: «Для меня важно, в первую очередь, не то, о чем написана книга, а то, как она написана. <...> Как написана книга – вот главный лакмус! Ибо “о чем” – исправить еще возможно, а вот “как” – это уже пожизненно. <...> “О чем”, но без “как” – та щель, через которую всегда старается проскочить бойкая амбициозная конъюнктура, бескрылая серость» (“Главный лакмус”). Сам писатель, безусловно, владел и тем и другим *крылом* писательского таланта, в его прозе “как” – пример настоящей художественности слова.

Взаимоотношения смысловой и звуковой стороны речи – предмет постоянного внимания в поэзии, но проза Евгения Носова столь благозвучна, что в этом плане может смело соперничать с ней. Ее словесная инструментовка – настоящее пиршество для читателя. Чуткое ухо писателя – рыболова, любителя птиц, “тихой охоты” – позволило ему в каждой жизненной сфере, в природных явлениях, в трудовых действиях, на рыбалке или во время прогулки расслышать и передать звуки и ритмы, которые делают его произведения словесно-музыкальной классикой.

Впервые прочитав чудный шестистраничный рассказ Носова “Петушиное слово”, читатель бывает покорен его блистательными описаниями. Рассмотрим и мы вместе с героем-рассказчиком серого петушка, красота которого открывается только очень внимательно взгляду: “...Каждое его перышко, чешуйчато и плотно пригнанное одно поверх другого, обведено по краю черной окантовкой, отчего представлялось, будто на нем была надета кованая боевая кольчуга” (курсив здесь и далее наш. – С.М.). Перед нами пример сложной (из двух звуков) звукописи, соединенной чередованием в систему *че-чѐ-че-чу*, к тому же *чу* поставлено в сильную конечную и ударную позицию. Звукоподражание создает впечатление глуховатых ударов меча о кольчугу: “И гребень его не был тем легкомысленным, картинным головным

убором... – нет, гребень его был без всяких излишеств, низок и широк, по всей поверхности усаженный крепкими зубцами, и скорее походил на боевое навершие витязя...”. Здесь очевидна аллитерация со звонким согласным *з*, что вызывает ассоциации со звоном задетого шлема. Так выразительное пластическое описание сопровождается звуковыми представлениями.

Сюжет рассказа прост и возвышен одновременно, а смысл подкрепляется словесной инструментовкой. Важное место в рассказе занимает природа: для каждого нового ее состояния Носов находит свои оттенки звукописи. Вчитываясь и всматриваясь в живописную словесную ткань, можно заметить, что художественный образ рождается не только из абсолютно точных деталей – перед нами явление, именуемое звуковым символизмом. Усиление изобразительности текста возникает за счет ассонанса и аллитерации – повторения и гласных, и согласных звуков.

Вот как передает влажное весеннее брожение в природе абзац-зачин. Образ весенних вод создает звукопись плавного, льющегося сонорного *л-ль*, “лопающиеся” губно-зубные согласные *в-ф* и ассонанс, образованный чередованием гласных звуков *о, а, и*: “...В тот день я возвращался ни с чем. Да и на что было рассчитывать, когда вовсю клокотали ручьи, лед на реке вспучило, вода замутилась, а вдоль берегов налились закраины, в которых с радостным кегеканьем полоскала красногорские гуси, отмывая в полой воде заношенную одежду”.

Сложноподчиненное предложение с однородными придаточными причины буквально льется благодаря ассонансу и аллитерации, спотыкаясь на существительном “кегеканье”. Из-за чередования заднеязычных согласных *к-г-к* произношение этого звукоподражательного неологизма особенно затруднено: как будто внушительный гусь на какой-то момент преграждает своей массой движение воды. И читатель, задержавшись на заковыристом новом слове, невольно приостановит чтение, вспомнит эту важную крупную птицу, представит ее энергичное и одновременно изящное движение.

Как остро надо настроить слух, чтобы услышать тишайшую музыку снега, – еще сложнее передать неслышимое. Носову удастся сделать это благодаря тому, что вкрапления звонкого *з* перестраиваются на глухой свистящий *с* и шипящие *ш-щ*. “Стояла первая теплынь без солнца, без дуновенья ветерка, отчего торосистый снег рушился особенно споро и воздух был полон тонкого и непрерывного прозванивания распадающегося наста”.

Только что распался и рушился хрупкий наст, клокотали весенние ручьи, но вдруг налетела туча со снегом. Для снегопада опять нужна словесная инструментовка, и писатель ее создает, скопив здесь свистящие *з-с* и шипящие звуки: “...внезапно с нарастающим шурушанием налетел такой плотный снежный заряд, что в миг все вокруг растворилось, исчезло...”.

Для грачей, которым все равно некуда деваться в шальную весеннюю непогоду, автор приберегает звонкие звуки и раскатистый *p*: "...и было странно и непривычно слышать за этой белой кутерьмой все тот же возбужденный и радостный грачиный *грай*".

Обильный снегопад приносит с собой внезапную тишину, все звуки поглощает слой выпавшего снега. Носов и это контрастное явление – оглушение – передает звукописью, возвращаясь к уже послужившим ему согласным звукам *c–з* и шипящим: "Вокруг сделалось *брезжуще-светло*, ново и так *отрешенно*, что я, нахлобучив *капошон*, не заметил, как прошел мимо хутора, в нескольких *шагах* от его плетней и сараев, как *вышагал* за околицу, что называется, в белый свет, определяясь *лишь* по отдельным перестукам электрички".

На небольшом пространстве вступительных и заключительных фрагментов рассказа "Петушиное слово" Евгению Носову удалось передать разнообразные "звуковые состояния" изображаемой природы: от глуховато-мягкой тишины выпавшего снега, хрупкого разрушения подтаивающего наста до шума весенних вод, говора грачей и гусей. Звукопись помогает автору подчеркнуть те изменения в природе, которые подготовят приход светлого настроения в финале. Звук в этом маленьком рассказе настроен на свет.

Близкие художественные задачи решает автор и в других рассказах. Наступление ясного морозного утра в "Сказе про Буканово болото", свет пограничья дня и ночи передается с помощью звуков *з, с и ц*. "Высокое морозное утро, полное заревого света, глубоко и торжественно сияло уже без единой звезды, все, что попадало в это озарение – серп ли приподнвившегося месяца, легкая поднебесная гряда облаков или проснувшаяся сорока, торопливо пересекавшая эту пустынную рань – всё было подсвечено и степенно процежено чистым отсветом близкого утра".

Чтобы показать читателю все тяготы непростого сельского труда, в рассказе "Подпасок" зной, жара, зудение оводов переданы с помощью нагнетания звонких звуков *ж* и *з*: "Жаркий августовский полдень. *Выжженный*, порыжелый на буграх выгон залит недвижимым, дремотным зноем. Дрожит, зыбится горячий воздух, и спуют в нем медным, зудящим гулом остервенелые оводы". Особенно хорош тут глагол *зыбится*.

Нередко прозаик усиливает изобразительность, используя повторы звуковых сочетаний. Так, чтобы выразить разрушительную силу градобойной тучи (рассказ "Белый гусь"), писателю понадобятся раскаты *p*: "Туча свирепствовала с нарастающей силой. Казалось, она, как мешок, распоролась вся, от края и до края. На тропинке в неударжимой пляске подпрыгивали, отскакивали, сталкивались белые ледяные горошины". Движение сыпавших градинок, прерывая звукопись на *p*, рождается на стыке двух глаголов – *отскакивали–сталкивались* и двух прилагательных – *белые ледяные*, в которых целая гроздь разнообразных повторов.

Есть длинные повторы, сохраняющие порядок звуков и создающие на малом отрезке текста внутреннюю рифму, есть повторы, меняющие порядок слов на обратный (*отс-ста, ел-ле*).

Звучание живой природы – голоса птиц, движение какого-либо зверька подается звукоподражательными словами. Образ серьезной птицы – ворона (“Сказ о Букановом болоте”) – писатель начинает лепить со звукоподражания: «“Кру, кру...” – вдруг послышалось сверху басово, глуховато и опять: – “Кру, кру...” <...> дедушка, остановившись и сдвинув на зыгылок шапку, сказал, как о давно знакомом:

– А-а! Дозор пожаловал!»

Начиная с этого замечания, описание птиц подкрепляется аллитерацией: “Две большие черные птицы, отсвечивающие багряными бликами, с неторопливым, *размеренным* посвистом *крыльев* делали *вокруг широкий* облет”. Особенно заметны в этом предложении заключительные сочетания *кры, кру*, рифмующиеся с началом абзаца. Аллитерация выделяет важный эпизод с воронами, имеющий свой глубоко нравственный смысл.

В рассказе “За долами, за лесами”, который начинается фразой: “На рассвете меня будили журавли”, чтобы передать крик журавлей, писатель пользуется только ассонансом. Пространство рассказа – северная деревня за Вологодой, за рекой Сухоной, куда писатель добирался не одним транспортом, и дом друга. Первая глава посвящена этому огромному деревянному дому: “Я, житель соломенной и плетневой России, не переставал удивленно *преклоняться перед* этим царством *дерева*, в которое попал”. Звукоряд с двумя ярко звучащими *д*, пересыпанными пятью *р*, передает резкие, скрипучие звуки деревянного дома (*пре-перед-р-дер-р*).

Сыновья друга разъехались из дальней деревни по стройкам и другим шумным местам, а писателю предложили погостить, пописать в тишине. В начале второй главки рефрен возвращает нас к журавлям: “Где-то на болотах кричали журавли”. В следующем предложении автор только пробует звуки – *у* и округлое *о* – для ассонанса, который поможет раскрыть читателю особенности журавлиного крика. “Перед восходом солнца крик их был так гулок, что казалось, будто птицы кружатся над коньком избы”. Рассказчику так и не удалось ни разу увидеть их, хотя деревенские говорили, что они “прилетали на гороховое поле – совсем близко”. И он, утвердившись в том, что журавли кричали “все-таки за гривой на болотах”, выражает свое впечатление именно с помощью ассонанса: “Лесное эхо *подхватывало* их крик, и он, усиленный и многократ *отраженный* гулкой *органной* звучностью *сосновых ствол*ов, *о*кружавших *болото*, метался *над топью*”. Обилие гласных, особенно *о* и *а*, в различных положениях (под ударением, в предупредных и заударных слогах) действительно придает всему предложению “органную звучность”, а эхо – отражение звука – находит себе место и в звуковой структуре: “многократ *отраженный*”.

Ассонанс как художественный прием успешно использован в рассказе “Варька” для описания поведения животного: “Остальное время балаган пустовал. Зимой по нему, занесенному сугробами, упиваясь утиным духом, шастали лисы”. Хотя описание краткое, проходное, Носов даже в такой малости находит выразительный звук у, который почти зримо живописует вытянутый и жадно принохивающийся нос лисы.

Много великолепных примеров звукописи в уже упоминавшемся “Сказе о Букановом болоте”. Морозным, синим утром дедушка и внук отправляются на крепко ставшее болото: настало время косить и сбить камыш, чтобы потом крыть им крыши, топить лежанки и печи, мастерить дудочки и свистульки. Вдвоем вышагивают старый и малый: Носов не удерживается и украшает этот кусочек аллитерацией-звукоподражанием, подчеркивая и закрепляя ее замечательным неологизмом, в котором мастерство писателя прячется за детским восприятием героя-рассказчика: «Под ногами *хрустко* рушилась *смерзшаяся* поросля и в звонкой тишине на каждую пару дедушкиных протяжно-скрипучих шагов откликались три-четыре моих торопливых пробежки. Дедушка скрипел свое: “*Шак-шак*”, я свое выскрипывал: “*Шаки-шаки, шаки-шаки*”. Гляжу на деревню – далеко *ушакали*».

Шуршит вокруг деда и внука сухой замерзший камыш, создание образов “камышового воинства” и “кулижного братства” опирается на испытанный и органичный для Носова прием: “Чем дальше мы пробирались, тем все гуще простреливали чащобу камыши. Их мягко опушенные метелки кивали от малейшего дуновения <...> наконец ивняки дружно разбежались по сторонам, и перед нами сплошной непроглядной стеной встало рыжее камышовое воинство...”

Под конец довольно длинного похода с многочисленными встречами с птицами и рыбами, с рассказом о неведомом Букалище, которого и дедушка не видел, а только слышал, как оно *букает*, усталый мальчишка забирается на вязанку. Под ее ровное шуршание и мерный ритм стихотворения, которое *выкрикивает* дед, засыпает малявка. Писатель возвращается к аллитерации: согласным *с* и *ш*: “Он [дед] натянул кушак и, *подавшись* вперед, *сдернул* приросший было ворох. И отмеряя *неспешные*, *упористые* *шаги*, *принялся* *выкрикивать* <...> *Я* *слушал*, *опрокинувшись* *навзничь*, *блаженно* и *отрешенно* *глядя* в морозное *искрящееся* небо. Подо мной монотонно *шуршал* *влекомый* *камыш*, *затушевывая* *дедушкин* *голос*, и вскоре я *непробудно* *уснул* и *проспал* всю *неблизкую* *ледяную* *дорогу*”.

Всюду, где упоминается о шуршании камыша, появляется звукопись: “...на *выбеленную* *прогалину* *вышмыгнула* из *рыжих* *осок* *белая* *продолговатая* *зверушка*...”; “Я *увидел*... на *беспредметной* *близине* *осыпавшегося* *иня*... *промелькнувшую* *голубую* *тень*, *нечаянно* *задевшую* *мое* *зрение*, и *лишь* *потом*, *насторожившись*, *увидел* *три* *черных*”

точки – нос и бусинки глаз. Зверушка *шустро* прошила туда–сюда заросли, снова метнулась по чьему-то следу...”; “Зверушку будто сдуло этим моим жарким шепотом...”; “...зверушка снова вышмыгнула из камышей и стала столбушкой...”. Благодаря аллитерации не только слышишь звуки живой природы, но почти осязательно ощущаешь шерстку неведомого зверька.

Звуковая организация прозы Евгения Носова настолько разнообразна и совершенна, что, служа более яркому созданию образов, открывает нам все ритмическое и мелодическое богатство народной речи срединной России.



ОТ КОГО ЗАВИСИТ СУДЬБА РУССКОГО ЯЗЫКА?

© О. Б. СИРОТИНИНА,
доктор филологических наук

Еще с 90-х годов XX века лингвистов стала тревожить судьба русского языка [1] и эта тревога все возрастала. Огрубление речи, безудержный поток заимствований и жаргонизмов вызывают беспокойство не только лингвистов. Мат стал не столько бранью, потеряв статус непечатных слов, сколько привычными словами-паразитами. Был период, когда эти слова можно было прочесть не только в туалетах, но и на страницах газет, книг, услышать со сцены, экрана телевизора. Стали широко издаваться словари мата и жаргонных слов, а словарь В.И. Даля из источника живого языка середины XIX века превратился в модное для журналистов пособие для поиска нелитературных словечек. Неважно, диалектные они, просторечные или жаргонные – лишь бы не литературные. Страницы наших даже уважаемых газет конца XX века запестрели словечками *намедни*, *надьсь*, *по новой*, *сигануть*, *канать*, *заместо*, *навроде*, *супротив*, *посередь* и т.д.

Понадобились очень большие усилия созданного в 1995 г. Совета по русскому языку при Президенте РФ (при Правительстве РФ просуществовал до 2003 г.), чтобы после многолетних обсуждений Государственной Думой был, наконец, принят Закон о государственном языке Российской Федерации (2005 г.), призванный защитить литературный русский язык от варваризации и жаргонизации. Прямой мат исчез с телевидения, заменяясь свистком, уменьшился поток нелитературных словечек и даже слово *тинэйджер* почти исчезло со страниц газет, на которые вернулось русское слово *подросток*.

Однако, несмотря на бесконечные судебные разбирательства (иски в защиту своей чести, достоинства и деловой репутации), несколько изданий книги М.В. Горбаневского, Ю.Н. Караулова и В. М. Шаклеина “Не говори шершавым языком”, специальные радиопередачи и публикации в печати, наши СМИ продолжают портить русский язык, а ведь для большинства населения России они остаются эталонной хорошей русской речью, на них ориентируются.

В чем же эта порча? Чему не надо подражать.

1. Каждое слово любого языка имеет свое значение, часто несколько значений, зафиксированных в толковых словарях. Конечно, эти значения могут изменяться, расширяя или сужая свое употребление, а словари за этими изменениями не всегда успевают. Особенно это характерно для слов из другого языка, внутренняя форма которых среднему носителю русского языка непонятна. Так случилось со словом *ностальгия*, которое расширило свое значение от “*тоски по родине, неправильно употреблять в значении тоска по прошлому*” [2] до “1. *тоска по родине, родному дому*; 2. *о прошлом, об утраченном*” [3].

Однако недопустимо употребление слова *раут* (торжественный вечер, прием) [4] в значении “ритуал”, как это сделал журналист в “Российской газете” от 11.03.04: “... моментально совершила собачий раут – после дефиле изящно подала лапу, принесла в зубах тапочки”. Аналогично обстоит дело со словами *артефакт* (правильное значение – “продукт деятельности человека”), который регулярно используется в СМИ и художественной литературе с прямыми неправильными толкованиями: “ошибка природы” (Ф. Незнанский. Опасно для жизни); “необъяснимый факт” (Российская газета. 2005. 27 июня); “подделка под истину (Российская газета. 2003. 7 мая) и т.д.; *катаклизм* в значении “автомобильная авария (Моск. комс. 2004. 12 нояб.); *мигрировать* в значении “менять взгляды” (Российская газета. 2005. 19 окт.); *одиозный* в значении “необычный, странный” (“Необъяснимо, но факт” на ТНТ 29.06.06) и т.д.

В неправильном значении употребляются не только заимствованные слова, но и свои, даже с ясной внутренней формой: *похвальба* от *похвалиться*, то есть “расхваливать себя, хвалиться своими делами, возможностями” употреблена, например, Валерием Леонтьевым в значении “похвала” (или приписана ему журналистом: “чтоб не принимать близко к сердцу ни похвальбу, ни любые пакости”) и в заголовке “Валерий Леонтьев: похвальбу близко к сердцу не принимаю” (Российская газета. 2006.13 апр.). Даже если В. Леонтьев оговорился, сказав *похвальба* вместо *похвала*, надо ли было так печатать?!

Но если здесь еще можно как-то оправдать неправильность, то в случае уже регулярного неправильного употребления слов *нелицеприятный, нелицеприятно* вопреки их внутренней форме (говорить неприятное в лицо кому-то), как тождественных словам *неприятный, неприятно*: “Роль самого артиста в этом скандале мягко говоря *нелицеприятная*” (Моск. комс. 2005. 13 апр.), порождающих чуждую русскому языку сочетаемость прилагательного *нелицеприятный* с *фактами, сведениями* и даже наречия *нелицеприятно* по отношению к себе (*нелицеприятно знать*) ничем не может быть оправдано, но уже не воспринимается студентами как ошибка. См. также *откровение* в значении “сенсация, открытие, неожиданность” в словах комментатора

чемпионата мира (Известия. 2004. 25 марта): “На какое-то откровение в оставшуюся часть вечера претендовало только выступление Штефана Линдемана” и телекомментатора канала “Спорт” 26.03.04: “Небольшим откровением для меня явился их класс”.

Встречается невозможная сочетаемость: *динамический ход* (Моск. комс. 2005. 30 сент.), *присутствие драйва* (Там же), “Ситуация в Чечне меняется *со всей принципиальностью*” (Известия. 2005. 10 марта), *восстановление микротрещин* (телереклама зубной пасты), и даже анекдотический *раствор щелочной кислоты* (Вести. 10.08.03 – слова специального корреспондента).

2. До сих пор в СМИ широко представлено нелитературное *аккурат* в значении “точно, как раз” (его можно увидеть почти в каждом номере газеты и услышать ежедневно по радио или телевидению: “И он истекает аккуратно накануне нового конкурса” (Моск. комс. 2006. 20 апр.); “Аккурат накануне вступительных экзаменов” (Моск. комс. 2006. 6 июля); “Потому что аккуратно через три месяца на свет появляется еще один документ” (Моск. комс. 2006. 13 июня) и т.д.

Видимо, с той же целью – избежать употребления литературных слов – образовано по модели наречий *вкрутую, вкруговую* наречие *влегкую*, хотя спокойно можно было употребить литературное *легко*: “влегкую компенсируются” (Моск. комс. 2006. 12 июля).

Уродливое образование *по новой*, своим значением не отличающееся от литературных *снова, опять*, широко употреблялось еще в 2005 г., но сейчас вернулось литературное *снова*.

3. В устной речи (радио, телевидение) до сих пор господствуют неправильно склоняемые сложные числительные (*трехста, семиста, двухтысячи шестой год* и т.д.), часты ударения *ходатАйство, квАртал, намерЕний, осУжден, возбУждено* (правда, не в речи журналистов). И в устной, и в письменной речи слово *препона* встречается только в мужском роде: *Еще один препон, много препонов*. Нередко так же употребляются слова *туфля и тапка* (*каждый туфель, один тапок*).

Конечно, грамотный читатель, телезритель (радиослушатель) ничему такому подражать не будет, а в случае каких-то сомнений заглянет в словарь, но большинство населения словарями, к сожалению, не пользуется, специальные передачи, посвященные русской речи, не слушает (их мало и идут они в неудобное для работающих время). Вот и распространяются, тиражируются по всей России неправильное словоупотребление, формообразование, ошибочное ударение, просторечное *аккурат*, привычка огрублять речь (только в последнее время с экрана ТВ стали возможны извинения за грубое слово, еще два года назад извинялись только за высокие слова).

Под влиянием наших СМИ речь становится грубой и шаблонной [5], широчайшее распространение в ней получили готовые реклам-

ные фразы (*два в одном, три в одном флаконе*) даже о людях, в том числе и о себе: “Я три в одном флаконе, только что не уборщица еще”. Хорошо, что в центральных СМИ “поток порчи” постепенно убывает, но в региональных, “желтых” и в речи ди-джеев частных радиостанций он все еще широк.

4. Еще опаснее то, что меняет саму систему русского языка.

То, что порядок слов в русском языке не свободный, доказано еще в середине XX века, однако из школьных программ и учебников правила размещения слов были выброшены, в словарях они не могут отражаться, а специальную литературу, видимо, не читают не только большинство населения, но и журналисты и писатели. Уровень их речевой (и не только речевой) культуры стал гораздо ниже, чем в XIX и даже XX веке. Количественный рост “пишущей братии” привел не к росту, а к снижению ее качества. В результате то, что было абсолютной нормой расположения слов в послепушкинский период классической русской литературы, с отступлениями от нее в XX веке, ныне почти полностью перестало соблюдаться. А в результате уменьшились возможности литературного русского языка. Особенно заметны эти изменения в письменной речи.

В XIX веке была исключена препозиция глагола *быть* как показателя времени при словах, обозначающих то, что не зависит от желания и воли человека: *должен был уйти, можно/нельзя было уйти, готов был уйти, да нельзя было* (ср. *был должен 100 рублей, был готов к замене*). Количественные соотношения этих фактов приведены в монографии автора [6]. В XX веке появились буквально единичные случаи нарушения этой нормы. Сейчас препозиция свободно употребляется: “Теперь будет можно, в исключительных случаях, если гражданин <...> судить заочно” (Моск. комс. 2006. 29 марта); “...куда было можно отправить Лебедева” (Моск. комс. 2006. 12 янв.) и т.д. Возможность подчеркнуть “помимоволие” какого-то факта исчезает тем самым из языка.

Пропадает и грамматическая норма размещать слова, не нарушая их связей. Если в XX веке такие фразы, как “Купленные билеты на 5 января действительны на спектакль 6 января” осуждались как неграмотные [7] и встречались только в объявлениях и плохой приключенческой литературе [8], то в наше время такие нарушения стали регулярными: “В конце концов таковую можно было бы списать на специфику субъективного восприятия происходящего россиянами” (Российская газета. 2006. 23 июня. Надо: восприятия россиянами происходящего); “...категорично заявила судья, начиная процесс, и просила впредь являться участников процесса вовремя” (Моск. комс. 2006. 7 мая. Надо: просила участников процесса являться вовремя). См. также примеры в статье автора [9].

Фактически не свойственный ранее русскому языку принцип свободы словорасположения стал в нем работать, хотя такое расположе-

ние очень затрудняет чтение, а иногда мешает понять смысл предложения, например: в заголовках “Москвичка не смогла убить себя дважды” (Моск. комс. 2005. 12 мая – значит один раз смогла?), двусмыслица и в заголовке “Подростки сознались в убийстве подполковника под пытками” (Моск. комс. 2005. 20 авг.). Свобода расположения слов для пишущего очень привлекательна, так как не требует от него никаких усилий, но читатель от нее страдает: чтобы понять смысл фразы, ее приходится перечитывать, чтение замедляется. Тем самым уменьшаются прагматические возможности языка, причем из-за реального превращения СМИ (как привычного для россиян эталона правильной речи) в тиражирование ошибок. Положение усугубляется тем печальным фактом, что проверить себя (и газету) людям даже при возникших сомнениях негде.

Советы для тех, кто читает эту статью:

1) Обращайте внимание на то, какое слово с каким связано: “Однажды епископ попросил вышить меня панагию” (Моск. комс. 2006. 24 июня), а надо: попросил (кого?) *меня*, *вышить* (что?) панагию. В газете получилось несусветное *вышить меня*, а два словочетания *попросить кого* и *вышить что* разорваны.

2) Следите, чтобы рядом стоящие слова не образовали ненужное словочетание. Когда-то в многочисленных пособиях по культуре речи приводились подобные анекдотические образования: “Столяр сделал табуретку из дуба с четырьмя ножками” и даже: “В район приехал инструктор для подготовки борцов с сельскохозяйственными вредителями из местных жителей”.

3) Помните: разрыв словосочетания означает, что одно из слов – самое главное в той информации, которую Вы передаете, и ставится оно в конце предложения. А начинается предложение с того, из чего Вы исходите, что уже известно читателю (начинается с темы, а заканчивается ремой).

Конечно, эти советы не исчерпывают всех тонкостей порядка слов в русском языке, о которых можно прочитать в книге И.И. Ковтуновой [10], но помогут Вам избежать грубых ошибок. Есть, конечно, и более глубокие исследования русского порядка слов, но их чтение требует специальных знаний.

Еще одна утрата – победа аналогии в размещении союзов и принципа свободы в размещении частиц.

Не повезло союзу *также*. Теперь он по аналогии с другими сочинительными союзами стал присоединять не только слово, но и предложение, даже целый абзац и подобно прочим размещаться в самом начале фразы (потеряв свое отличие от союза *а также*) и даже начинать абзац. Но в отличие от *а также*, *и*, *а*, но союз *также* присоединяет только слово и должен размещаться **после** присоединяемого слова, а не перед ним. Ср.: «А “похоронить” его амбиции суждено Устинову»

(с абз.) “Также политологи утверждали, что набравшему такую мощь Игорю Сечину...” (Моск. комс. 2006. 3 июня. Надо: Политологи утверждали также, что....); (с абз.) “Также было обращено внимание на слишком активную финансовую поддержку...” (Российская газета. 2006. 9 июня. Надо: внимание было обращено также...).

Между тем сейчас нет ни одного номера любой газеты, где бы не было ошибочного размещения этого союза: “...в 1993 г. защитил докторскую диссертацию в Институте истории Российской академии наук (РАН). Также он является редактором...” (Моск. комс. 2006. 13 июня); (с абз.) “Также специалисты не исключают...” (Моск. комс. 2006. 21 июня); (с абз.) “Также машину необходимо оснастить атрибутами такси” (Моск. комс. 2006. 20 июня); “По его словам, ему также не была известна дата террористического акта” (Российская газета. 2006. 29 марта. Очевидно, надо: дата террористического акта также не была ему известна).

Нарушения норм расположения частиц тоже не редкость. Принцип мнимой свободы их размещения приводит к появлению заголовка “Камчатке только нужна санкция Москвы” (Российская газета. 2003. 12 авг.), хотя ограничительно-выделительная частица *только* должна стоять перед *санкция*.

Все приведенные факты – свидетельство недостаточного владения нормами литературного языка, отсутствия внимания и желания журналистов их соблюдать. Вот и выходит, что судьба русского языка в значительной мере зависит от наших СМИ. Именно СМИ с их непродуманной стратегией демократизации языка прессы в борьбе с советским новоязом, казенным официозом открыли шлюзы для снижения речи любой ценой, одновременно создавая моду на иностранные слова и нарушая русские коммуникативные нормы именованности людей по имени и отчеству, недопустимости *ты*-общения в официальной обстановке.

Еще одно иноязычное влияние: перестает употребляться собственное русскому языку двойное отрицание. Сначала я приняла отсутствие необходимого *не* за простую опечатку, но регулярность этого явления заставляет думать, что это – следование нормам чужих (иностраных) языков, в которых двойное отрицание не допускается. Но в русском-то языке оно необходимо, и фраза «АН-24, который считался едва ли самым “неубиваемым” советским самолетом, был рассчитан на выполнение 35 тысяч полетов» (Российская газета. Неделя. 2006. № 27) становится нелепой: *едва ли* требует после себя *не* (*едва ли не самым “неубиваемым”*).

Журналисты стали слишком вольно пользоваться языком, забыв о своем влиянии на речь населения. Многое зависит от них, но ведь еще больше – от нас всех. Чтобы сохранить великий и могучий русский язык, сберечь его богатейшие возможности и развить их дальше,

лингвистам надо строже относиться к ошибкам в СМИ, лучше готовить журналистов, больше создавать и для них и для всего населения пособий по культуре речи, а всем россиянам прежде всего уважать свой язык, не относиться к нему бездумно. И тогда русский язык вновь обретет всю свою мощь.

Литература

1. *Караулов Ю.Н.* О состоянии русского языка современности. Материалы почтовой дискуссии. М., 1991.
2. *Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.* Толковый словарь русского языка. М., 1993.
3. Современный толковый словарь русского языка под ред. *Кузнецова С.А.* М., 2004.
4. *Крысин Л.П.* Толковый словарь иноязычных слов. М., 2005.
5. *Лудильщикова Н.А.* Проявления власти телевидения в речи молодежи // Проблемы речевой коммуникации. Саратов, 2004. Вып. 4.
6. *Сиротинина О.Б.* Порядок слов в русском языке. Саратов, 1965; М., 2003 и 2006.
7. *Долинина Н.Г.* О родном нашем языке. М., 1961.
8. *Сиротинина О.Б.* Указ. соч.
9. *Сиротинина О.Б.* Что происходит с русским языком? // Проблемы речевой коммуникации. Саратов, 2006. Вып. 6.
10. *Ковтунова И.И.* Современный русский язык. Актуальное членение и порядок слов. М., 1976.

Саратов

к 40-летию журнала

О некоторых иноязычно-русских лексических
соответствиях

© Л. П. КРЫСИН,
доктор филологических наук

- У вас есть *инициатива*.
- Без ученых слов, голубчик!
- Нет, позвольте его повторить... *Инициати-
ва*.

По-русски *почин*, если вам угодно.

П.Д. Боборыкин. Китай-город

Главный вопрос, которым задается человек, слыша или встречая в тексте незнакомое слово: – Что это значит? А если к тому же это слово – иностранное, то возникает и второй вопрос: – Нельзя ли то же самое сказать по-русски?

Такие вопросы у носителей русского языка особенно часто возникают в последнее время, когда в нашей речи появляются все новые и новые слова, заимствованные из других языков, преимущественно из английского (точнее – из его американского варианта). Так, в конце 80-х годов прошлого столетия в наш повседневный язык вошло множество экономических и финансовых терминов, и почти все они – иноязычные по происхождению: *бартер, брокер, ваучер, дилер, инвестор, инвестиции, консалтинг, приватизация, тендер, фьючерсный* и т.п., позднее к ним добавились *дефолт, профицит* и некоторые другие.

Правда, специалистам в области экономики, финансов, банковского дела многие из этих терминов были знакомы и раньше. Однако обстановка в стране в это время была такова, что вопросы экономики, товарного производства и товарного обмена, денежного оборота сделались актуальными не только для профессионалов, но и для обычных людей. Одни увидели нечто притягательное в безденежном товарном обмене (то есть *бартере*), другие начали прибегать к услугам посредников на биржах (*брокеров, дилеров*), третьи не знали, что делать с *ваучерами*, а потом возмущались результатами *приватизации*, все вместе страдали от обрушившегося на страну *дефолта* (то есть отказа государства от принятых на себя финансовых обязательств), и даже *профицит* государственного бюджета (то есть превышение доходов над расходами), о котором начали громко заявлять финансовые деятели, мало кого из простых людей радовал. Иными словами, специальные экономические и финансо-

вые термины вошли в общелитературный язык, замелькали на страницах печати, зазвучали по радио и телевидению.

Очевидны причины, по которым все эти экономические и финансовые термины заимствованы русским языком: явления, которые они называют, – результат влияния на нашу экономику распространенных на капиталистическом Западе методов и механизмов экономического и финансового управления. Со второй половины 80-х годов Россия все больше делается открытой западным влияниям в самых разнообразных областях – политике, торговле, культуре и искусстве, кино, музыке, спорте и, конечно же, в экономике. Вместе с новыми понятиями к нам пришли и новые слова и термины. Можно ли без них обойтись? Можно ли заменить их русскими соответствиями и называть, скажем, бартер – *обменом*, брокера – *посредником*, инвестора – *вкладчиком*?

Попробуем повнимательнее присмотреться к каждому из упомянутых иноязычных слов и к возможной замене его близким по смыслу русским существительным.

Бартер

Это слово заимствовано из английского языка, где существительное *barter* означает “мена, меновая торговля; товарообменная сделка; товар для обмена”. Оно вошло в русский язык в качестве специального экономического термина и первоначально регистрировалось преимущественно терминологическими словарями и словарями иностранных слов.

Например, в “Современном словаре иностранных слов”, который вышел в 1992 году, основной единицей толкования является словосочетание *бартерная сделка*, после которого, правда, помещено и слово *бартер*, но сам такой порядок толкуемых единиц свидетельствует о том, что слово *бартер* было еще не вполне освоено русским языком. Толкование этому термину дано довольно пространное: “товарообменная сделка с передачей права собственности на товар без денежного платежа (натуральный обмен)”. В “Толковом словаре иноязычных слов” Л.П. Крысина (1998) определение более лапидарное: “*бартер* – товарный обмен (без участия денег)”. Во второй половине 90-х годов XX века этот термин с ограничительной стилистической пометой “спец.” попадает и в общие словари. Например, в “Толковом словаре русского языка” С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (М., 1997) читаем: “**Ба́ртер** [тэ́], -а, м. (спец.). Товарообменная сделка, натуральный обмен. *Получить товар по бартеру*. || прил. **ба́ртерный**, -ая, -ое. *Бартерная сделка*”.

“Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые изменения” под ред. Г.Н. Складчиковой (СПб., 1998) характеризует *бартер* как “относительно новое слово”, но при этом описание его содержит многочисленные примеры из прессы, иллюстрирующие употребление слова не только в прямом, “экономическом” значении, но и в переносном, имеющем шуточный оттенок “сделка; обмен вещами между людьми по взаимному соглашению” (*Предлагаю бартер: за книгу по искусству книгу по кулинарии*).

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что ни в одном из цитируемых словарей слово *бартер* не истолковано с помощью какого-нибудь одного русского синонима (например, *обмен* или *сделка*): для точной передачи смысла этого термина требуются уточняющие слова: *товарный, товарообменный, натуральный*. Это значит, что смысл термина *бартер* отличается от значения слов *обмен* и *сделка*: очевидно, что обмен может и не предполагать наличие товаров (ср. *обмен мнениями*), а заключение сделки не всегда связано с товарными отношениями (ср. *биржевая сделка*, а также фразеологизм *сделка с совестью*). Стало быть, если и вести речь о замене иноязычного слова *бартер* своими, русскими, словами, то в качестве эквивалента должно быть выбрано не одно слово, а словосочетание (*товарный обмен, товарообменная сделка* и т.п.). В языке же, как известно, действует тенденция к замене неоднословных наименований (то есть наименований, состоящих из более чем одного слова) однословными: *меткий стрелок* → *снайпер*, *бегун на длинные дистанции* → *стайер*, *несгораемый шкаф* → *сейф* и т.п. Употребление слова *бартер* вместо словосочетаний *товарный обмен без участия денег, товарообменная сделка* вполне соответствует указанной тенденции, и, следовательно, у этого слова есть шансы сохраниться в нашем языке.

Брокер

Так же, как и слово *бартер*, это слово заимствовано из английского языка, где существительное *broker* значит “посредник; торговец подержанными вещами”. И это существительное, и образованный путем конверсии глагол *to broker* – буквально “посредничать, быть посредником” происходят от формы прошедшего времени глагола *to break* в ныне устаревшем его значении “быть посредником”. Отметим, что в русском языке есть целый ряд слов, обозначающих разные виды посредничества в товарных, торговых, имущественных, финансовых и иных сделках: сравнительно недавно появившиеся *джоббер, дилер, дистрибьютор, риелтор* и более давние по времени заимствования *комиссионер, прокуррист, маклер* (а также восходящее к этому слову русифицированное и ныне устаревшее *маклак*; о различиях в их значениях см. в “Толковом словаре иноязычных слов” Л.П. Крысина, где поиск слов, образующих ту или иную тематическую группу, облегчается наличием в словарных статьях зоны аналогов – слов с близкими данному, но не синонимичными значениями).

Вот как определяется слово *брокер* в словарях иностранных слов и в толковых словарях: “посредник при заключении сделок на биржах; действует по поручению и за счет клиентов, получая от них за посредничество плату в размере определенного процента от суммы сделки” [1]; “посредник при заключении сделок на бирже, специализирующийся по определенным видам товаров или услуг” [2]; “агент, посредничающий при купле-продаже ценных бумаг, товаров” [3].

Обратим внимание: в первых двух толкованиях используется слово *посредник*, в последнем – слово *агент*, но и то, и другое сопровождаются

определениями, которые указывают на то, какой это посредник или агент, каков характер его деятельности: он работает на бирже и получает за свое посредничество плату. Иначе говоря, оказывается, что просто перевести слово *брокер* русским *посредник* или ранее заимствованным *агент* нельзя, недостаточно: в этом случае останется неясным вопрос о том, в чем именно посредничает такой человек и какова его деятельность как агента (сравните такие случаи употребления слов *посредник* и *агент*, в которых оно не может быть заменено словом *брокер*: *посредник на переговорах*, *агент службы безопасности* и т.п.).

Стало быть, *брокер* – слово со вполне сформировавшимся, самостоятельным значением. Оно используется в качестве финансового термина не только специалистами, но и в средствах массовой информации, в бытовой речи. Как однословное обозначение соответствующей профессии и лица, исполняющего эту профессию, оно удобнее в употреблении, чем сочетания слов, обозначающие то же самое, но более длинно, громоздко. Заметим, что в среде специалистов – бизнесменов, экономистов, финансовых работников и др. – этот и некоторые другие финансово-экономические термины имеют сейчас более разветвленную систему значений, не всегда фиксируемую не только общими словарями, но и специальной справочной литературой [4].

Дефицит и профицит

Дефицит – слово, заимствованное русским языком (из немецкого) довольно давно, в первой половине XIX века. Оно имеет два значения, общеупотребительное и специальное: “нехватка чего-либо” и “превышение расходов над доходами”. В первом из этих значений слово знакомо нам, особенно старшему поколению, к сожалению, очень хорошо: при советской власти постоянно был дефицит – то продуктов, то товаров первой необходимости... А во втором значении *дефицит* – экономический термин.

И в паре с ним экономисты употребляют термин с противоположным значением – *профицит*. Он обозначает превышение доходов над расходами. Неспециалистам второй термин стал известен сравнительно недавно – в связи с тем, что многие проблемы экономики стали обсуждаться не только профессионалами, но и, например, депутатами Госдумы – при принятии очередного годового бюджета. А из их речей термин попал в средства массовой информации. Прав на существование в нашем языке у слова *профицит* столько же, сколько их у слова *дефицит*. Вместо того, чтобы выражаться описательно, длинно: *превышение расходов над доходами*, *превышение доходов над расходами* – употребляют однословные и соотносительные по значению термины *дефицит* и *профицит*. Разумеется, использование этих терминов уместно прежде всего в специальных текстах, во вторую очередь – в прессе, когда обсуждаются экономические проблемы. А в обыденной речи мы можем обойтись и без этих специальных терминов.

Инвестор, инвестиции, инвестировать

Слово *инвестор* пришло в русский язык не в одиночку, а вместе с однокоренными *инвестировать, инвестиции*. В качестве источника этих слов словари указывают немецкий язык, где они были образованы от латинского глагола *investire* “облачать, одевать”. *Инвестициями* называют долгосрочные вложения капитала в какое-либо предприятие, дело, а также сам такой капитал.

Современные газеты пишут о сокращении иностранных *инвестиций* в российскую промышленность, о том, что кое-что в нашей стране не устраивает западных *инвесторов*, и поэтому они не хотят *инвестировать* свои денежные средства в те или иные российские предприятия так же активно, как они делали это раньше, когда *инвестиционный* климат был для них более благоприятен. Широкое употребление всех этих слов объясняется внеязыковыми причинами: раньше, два–три десятилетия тому назад само понятие иностранных инвестиций не было актуальным (да при советской власти оно было попросту невозможным). С началом же перестройки и в последующие годы российские власти, напротив, стали привлекать западных предпринимателей, предлагая им вкладывать свой капитал в русский бизнес на выгодных для вкладчиков условиях.

- Надо сказать, что некоторые из перечисленных слов с корнем *инвест-* – не такие уж новые для русского языка, глагол *инвестировать* и однокоренные с ним слова *инвестор, инвестиция* были заимствованы русским языком еще в начале XX века [5]. Слова *инвестировать* и *инвестиция* зафиксированы в первом томе “Толкового словаря русского языка” под ред. Д.Н. Ушакова (1935 г.). Но при этих словах стоит помета “экон.”. Несколько раньше слова *инвестирование, инвестиции* были зафиксированы в “Словаре иностранных слов” 1933 года и при этом без указания на сферу употребления этих терминов. Однако в этом словаре и другие экономические термины не снабжены соответствующей пометой. Эта помета сопровождает указанные слова и в более поздних словарях – например, в четырехтомном академическом. И только в конце XX века термины с корнем *инвест-* покидают узкие рамки профессионального словоупотребления экономистов и начинают употребляться в общелитературном языке.

К собственно заимствованным словам *инвестиция* (от нем. *Investition*), *инвестировать* (от нем. *investieren*), *инвестор* (от нем. *Investor*) добавляются и их производные: *инвестиционный, инвестирование, инвесторский*, появляются устойчивые наименования и употребительные словосочетания с участием этих слов (*инвестиционный банк, инвестиционный фонд, клуб частных инвесторов, политика инвестирования* и др.). Все это свидетельствует об освоении слов с корнем *инвест-* современным русским языком, главным образом книжной его разновидностью, и о широкой употребительности их в официально-деловом и публицистическом стилях литературной речи.

Так же, как в случаях со словами *бартер* и *брокер*, невозможна простая замена этих слов русским словосочетанием *вложение капитала*, по-

скольку, во-первых, это двусловное наименование (а ему обычно предпочитается наименование однословное), и, во-вторых, в значении словосочетания *вложение капитала* нет указания на то, какого рода вложения имеются в виду (ср. такие компоненты приведенных выше толкований слов с корнем *инвест-*, как “долгосрочный”, “в предприятие, в экономику”). Значит, и эти слова, пришедшие в общее употребление из словаря экономистов, имеют все шансы укрепиться в нашем языке.

Немаловажен и такой фактор, влияющий на судьбу рассмотренных слов: и *бартер*, и *брокер*, и слова с корнем *инвест-*, по существу, интернациональны, они известны и понятны говорящим на многих современных языках. А принадлежность того или иного слова к общему, международному лексическому фонду часто облегчает ему укоренение и в каждом конкретном национальном языке (в данном случае – в русском).

Тенденция к замене неоднословных наименований однословными и фактор интернациональности играют существенную роль при освоении языком и других слов и терминов, принадлежащих к иным тематическим группам. Это касается и таких иноязычных лексем, которые на первый взгляд кажутся явно дублирующими значения единиц, уже существующих в языке. Одно из таких слов – *бренд*, весьма употребительное в современных средствах массовой информации и в рекламе.

Бренд

Слово заимствовано из английского языка, где *brand* имеет значение “клеймо; фабричная марка”. Примерно то же значение и у заимствования: *бренд* – это торговая марка предприятия, играющая роль рекламы этого предприятия. Нынешние деловые люди говорят о *раскрученных брендах* (тут иноязычное – в смеси с жаргонным: *раскрутить бренд* на языке наших бизнесменов означает продвинуть какое-либо предприятие и его товар на рынок и сделать популярной саму марку этого предприятия). Произносится это слово с твердым согласным “р”: [брэнд].

Тексты современных газет и журналов свидетельствуют о широкой употребительности этого термина и об активном образовании словосочетаний на его основе. Так, в Национальном корпусе русского языка (адрес в Интернете: ruscorpora.ru) зафиксированы контексты, в которых встречается не только само слово *бренд*, но и такие словосочетания, как *бренд года*, *бренд-менеджмент*, *бренд-билдинг*, *бренд-дизайн*, *бренд-консалтинг*, *бренд-лидерство*, *бренд создают*, *выстраивают*, *продвигают на рынок*, *раскручивают*, он может быть *мировым*, *национальным*, *местным*, *именным*, *готовым*, *ходовым*, *сильным*, *честным*, *эксклюзивным* и т.п.

Возникает вопрос: а зачем нам это новое заимствование, когда есть старые – и свои, и иноязычные слова с близкими значениями: (*товарный*) *знак*, *клеймо*, *марка* (нем. *Marke*), *ярлык* (пришедшее из тюркских языков: ср. турецкое *jarlyk* “султанский указ, грамота”), *этикетка* (от

франц. *étiquette*)? А еще есть недавно заимствованное *лейбл* (от англ. *label*) – “торговый знак фирмы-изготовителя в виде яркой наклейки (например, на одежде)”. Почему язык допускает такую множественность обозначения практически одного и того же предмета?

Если мы внимательно присмотримся к перечисленным словам, то обнаружим, что они не вполне дублетны, то есть не полностью совпадают по смыслу и по сферам употребления. *Клеймо*, например, ставят не только на товар, но и на тело животных (а в давние времена и рабов клеймили); это слово употребляется также переносно в значении “неизгладимый след чего-либо постыдного, позорящего” (напр., *клеймо позора*, *клеймо предателя*).

Другие слова из перечисленного выше ряда таким значением не обладают. У слова *ярлык*, правда, помимо прямого смысла (“листок на каком-л. изделии, товаре с наименованием этого изделия, товара или сведениями о нем”, как определяется это значение слова *ярлык* в словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой), – есть и переносный, но иной, чем у слова *клеймо*, смысл: “шаблонная, обычно отрицательная краткая характеристика кого или чего-либо, чаще всего несправедливая”. Слово *знак* имеет слишком общее значение, и поэтому применительно к товарам, изделиям оно снабжается определением *товарный*.

Марка – это не только сам товарный знак, но и сорт изделия (например, *новая марка стали*) – такого значения нет у других анализируемых слов. Слово *бренд* называет рекламный товарный знак: об этом свидетельствует компонент толкования “...играющая роль рекламы этого предприятия” (см. выше). Этого смыслового компонента нет у других слов. *Лейбл* – это яркая наклейка, преимущественно на одежде, не содержащая ничего, кроме названия самой фирмы, выпускающей эту одежду, а *этикетка*, помимо указания на выпускающее данный товар предприятие, может содержать еще какие-либо сведения – например, о сроке годности, о цене, о способах использования продукта и т.п.

– Так это то же самое, что *ярлык!* – вправе воскликнуть внимательный читатель. И будет почти прав. Почти – потому что слова *этикетка* и *ярлык*, при явной близости их значений, все же различаются – сферами использования, сочетаемостью с другими словами: ярлыками снабжаются не только товары, но и, например, вещи, сданные в багаж, поэтому мы можем сказать *багажный ярлык* (но не *багажная этикетка*); ярлыки не только приклеиваются, но и навешиваются – отсюда и отмеченное выше переносное употребление этого слова (сказать же: *Давай навесим этикетку* едва ли можно – большинство говорящих по-русски предпочтет здесь глаголы *приклеим* или *прикрепим*).

Из всего сказанного следует вывод: каждое из слов перечисленного нами ряда имеет некоторое своеобразие в своем значении и этим отличается от других слов; поэтому язык и не освобождается от наименований, которые только на первый взгляд кажутся полностью синонимичными. Возможно, в дальнейшем и произойдет вытеснение какого-либо из этих

наименований. Но пока все рассмотренные нами слова имеют право на существование и употребление в нашей речи.

Клипмейкер

Это новомодное, английское по происхождению слово состоит из двух частей: *клип*- и *-мейкер*. *Клип*, или *видеоклип* (еще один иностранец!), как свидетельствуют словари иностранных слов, – это “короткий телевизионный сюжет, состоящий из эстрадной песни, сопровождаемой специально смонтированным изображением, часто с применением компьютерной техники; используется также как средство рекламы” [2].

В английском языке существительное *clip* значит “газетная вырезка; фрагмент фильма” и происходит от глагола *to clip* “отсекать, отрезать”. А вторая часть слова *клипмейкер* – от английского глагола *to make* “делать, создавать”. Стало быть, *клипмейкер* – это человек, который делает клипы, “создатель клипов”. Этот род деятельности появился у нас сравнительно недавно и, несомненно, под влиянием Запада, о чем свидетельствует и само заимствованное слово. По-русски этот род занятий и того, кто к нему причастен, обозначить трудно. Правда, в русском языке есть слова со второй частью *-дел*, образованной от глагола *делать*, которые обозначают лиц по профессии. В “Грамматическом словаре русского языка” А.А. Зализняка (4-е изд., М., 2003) таких слов шесть: *винодел, ковродел, маслодел, сукнодел, стеклодел, сыродел* (плюс *бракодел*, которое содержит в своем значении отрицательную оценку). Почему бы не образовать по этой модели слово *клиподел*?

Не получится. И вот почему.

Во-первых, слово пришло к нам вместе с самой профессией, а в случаях, когда слово заимствуется вместе с новой вещью или новым понятием, вероятность укоренения его в языке весьма высока [6]. Во-вторых, слова со второй частью *-дел*, как легко видеть, образованы от русских именных основ (*вин-о, ков(ё)р, масл-о, сукн-о, стекл-о, сыр*) – в слове **клиподел* она была бы иноязычной. В-третьих, приведенные слова обозначают старые и исконные для России профессии. В-четвертых, в языке редко сохраняются слова, образованные намеренно, в противовес каким-то иным, неприемлемым по тем или иным причинам (вспомним знаменитые *мокроступы* вместо *калоши, топталище* вместо *тротуар, ячество* вместо *эгоизм*, не прижившиеся в нашем языке, несмотря на прозрачность их словообразовательной структуры). Так что придется смириться с еще одним иноязычным неологизмом – словом *клипмейкер*, которое обозначает специалиста по производству видеоклипов.

Добавим к этим аргументам еще один. Вторая часть слова *клипмейкер* встречается и в некоторых других недавних заимствованиях из английского, правда, ограниченных в своем употреблении определенной профессиональной средой: *имиджмейкер* (буквально: “создатель имиджа, образа”, то есть специалист по созданию имиджа кого-либо – политика, артиста и др.), *нюсмейкер* (буквально: “создатель новостей”); в рус-

ском языке значение этого слова еще не вполне устоялось: это либо “тот, кто в определенный момент становится объектом внимания журналистов как представляющий интерес для читателей и зрителей” [7], либо “журналист, работающий в области создания новостных программ”, либо и то, и другое [7]. В последнее время появился спортивный термин *плеймейкер* (буквально: “делатель игры”, то есть тот, кто своими умелыми, мастерскими действиями – например, при игре в футбол, баскетбол и др. – инициирует определенные тактические ходы и комбинации, приносящие успех команде); ср. следующие примеры: “Второго Зидана нет и быть не может, но второй *плеймейкер* международного класса у сборной, претендующей на чемпионство, должен быть” (Известия. 2002. 31 мая); “Основной *плеймейкер* аргентинцев Санчес вместе с серебряными медалями выиграл себе контракт в НБА” (Известия. 2002. 9 сент.).

В Национальном корпусе русского языка ruscorgo.ru зафиксировано также окказиональное слово *вирус-мейкер* – программист, который заражает вирусами компьютерные программы: “Программа портит загрузочные файлы, дописывая к ним лишние строки, – раскололся *вирус-мейкер*” (Столица. 1997. 26 авг.).

На наших глазах *-мейкер* превращается в словообразовательную морфему, своего рода суффикс, с помощью которого образуются слова и от русских корней, хотя такие слова и имеют явно выраженный шутливый оттенок: ср., например, популярное среди газетчиков слово *слухмейкер* – тот, кто распускает слухи. Эта морфема в несколько ином фонетическом обличье присутствует и в давнем заимствовании *букмекер* – от англ. *book* “запись ставок на скачках” (одно из значений многозначного слова *book*) и *to make* “делать”.

Интроверты и экстраверты

Эти слова – термины, употребляющиеся в психологии. *Интроверт* – это человек, сосредоточенный на своем внутреннем мире (об этом свидетельствует первая часть слова, восходящая к латинскому *intro* “внутри, внутрь”), с трудом устанавливающий контакты с окружающими. А *экстраверт*, напротив, – человек, в своих переживаниях и интересах обращенный к внешнему миру, легко устанавливающий контакты с окружающими (на это указывает часть *экстра-*, восходящая к латинскому слову *extra*, которое в одном из своих значений соответствует русскому предлогу *вне*).

Специальные терминологии вообще и, в частности, терминология, используемая психологами, во множестве содержат иноязычные по происхождению элементы: с помощью заимствованного слова можно точно назвать какое-либо специальное явление, в то время как использованию в этом качестве исконного слова мешает тот факт, что такое слово может иметь определенный (но другой, не терминологический) смысл в общеупотребительном языке.

Так, в электротехнике существуют *трансформаторы*, хотя это слово почти точно переводится русским *преобразователь*; астрономы говорят об *орбитах* планет, хотя *orbita* по-латыни – то же самое, что по-русски *колея*; авиаконструкторам и летчикам хорошо известно явление под названием *флаттер*, что в буквальном переводе с английского значит *трепетание*, – разумеется, в авиационной терминологии в качестве обозначения неуправляемой вибрации летательного аппарата во время полета прижилось иноязычное наименование, а не русское отчасти поэтическое, отчасти устарело-книжное слово *трепетание*; хирурги перед операцией проводят *анестезию* (больного органа или всего организма), и это точнее передает необходимый смысл, чем русское *обезболивание*: при анестезии, как правило, используются определенные обезболивающие средства, а в значении слова *обезболивание* такой смысловый компонент необязателен (например, знахари могут обезболить орган или организм заговорами, не применяя никаких химических веществ).

Иноязычные слова *интроверт* и *экстраверт* – тоже примеры подобного “специализирующего” использования заимствованной лексики в качестве терминов. Эти слова обладают и еще одним немаловажным свойством: каждое из них называет то, что по-русски может быть выражено только описательным оборотом (у них нет однословных русских соответствий). Каждое из них по форме и по смыслу соотносено с терминами, называющими сами психические явления, – *интроверсия* (сосредоточенность человека на собственном внутреннем мире, сопровождаемое затруднениями в установлении контактов с окружающими) и его антонимом *экстраверсия*.

Наше время характеризуется активным вторжением специальной терминологии в общепотребительный язык, даже в повседневный быт. Многие ли из нас до августа 1998 года знали, что такое *дефолт*? Известно ли было лет 20–30 тому назад обычному человеку – не экономисту и не банковскому служащему, – что такое *бартер*, чем занимается *брокер*, для чего нужна *ипотека*? А теперь эти экономические и финансовые термины у всех на слуху. Заметим, что и термины других наук и профессий могут становиться известными неспециалистам и если и не входить в наш быт, то все же требовать каких-то разъяснений по поводу особенностей своего значения и употребления в речи.

Интроверт и *экстраверт* – одни из таких терминов: их можно встретить не только в специальной психологической литературе, но и, например, в газетной статье, услышать в телевизионной передаче о здоровье или в радиоочерке об особенностях воспитания детей.

Кастинг

Читая об очередном конкурсе красоты, мы можем узнать, что, прежде чем попасть в число участниц конкурса, девушки проходят *кастинг*. По контексту догадываемся, что это слово обозначает что-то вроде “отбор, отсеивание”, но таково ли значение этого слова на самом деле?

Английское слово *casting*, лежащее в основе этого заимствования, образовано от глагола *to cast*, который буквально значит “выбраковывать” и первоначально применялся только по отношению к лошадям: перед тем, как допустить лошадь к скачкам, она должна была пройти *casting*. Постепенно сфера употребления термина расширилась, и им стали обозначать отбор девушек на конкурсах красоты, при демонстрации новых моделей одежды, актеров – кандидатов на исполнение той или иной роли в фильме или спектакле. В этом расширительном значении слово *кастинг* и было заимствовано русским языком.

– А зачем? – вправе спросить читатель-скептик. – Разве нельзя обойтись всем понятными словами *отбор* или *подбор*, чтобы не засорять русский язык еще одним «чужаком»? Можно. Правда, при этом мы должны сопровождать слова *отбор* и *подбор* разного рода уточнениями: *отбор (подбор) девушек для конкурса красоты, отбор (подбор) актеров при съемках фильма* и т.д. Это необходимо для того, чтобы отграничить употребление слов *отбор* и *подбор* в этом смысле от других употреблений: можно ведь говорить, например, об *отборе фактов* – из какого-то их множества, об *отборе абитуриентов* при поступлении в институт, о *естественном отборе* в живой природе, о *подборе* ключа к замку, *подборе* мелодии к стихам и т.д. Ни в одном из этих случаев слово *кастинг*, разумеется, не годится. Но если *кастингом* мы обозначаем не всякий отбор или подбор, а специальный, то перед нами классический случай такого разграничения значений “своего” и “чужого” слов, при котором “свое” обозначает нечто более общее по смыслу, а “чужое” закрепляется в качестве специального термина, относящегося к тем или иным сферам профессиональной деятельности. В русском языке можно найти немало лексических пар именно такого рода: *список – индекс, ограничение – лимит, всеобщий – тотальный, отображать – проецировать* и мн. др.

Итак, *кастинг* – это отбор или подбор, но не всякий, а “предварительный подбор исполнителей, участников какого-либо шоу (актеров для съемок в фильме, девушек для конкурса красоты, манекенщиков для показа моделей и др.)” [7].

«Судьба словарных заимствований, относящихся к области общественной жизни или внутренних состояний личности, бывает очень различна. Некоторым из этих заимствований, особенно если они представляются семантически или морфологически неоправданными, приходится выдерживать яростное противодействие со стороны пуристов. Мотивами этой борьбы чаще всего являются или соображения национально-семантического порядка, или ссылки на “строевую” неправильность слова, его ненужность и непозволительность» [9].

Примеры иноязычно-русских лексических соответствий, рассмотренные в этой статье, свидетельствуют о том, что не всякое иноязычное слово может расцениваться как лишнее, как засоряющее родную речь, – во многих случаях заимствование или называет какой-то новый предмет, не

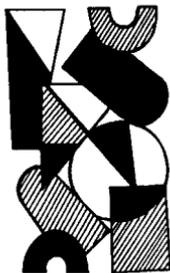
имеющий русского наименования, или уточняет какое-либо понятие, или коротко, одним словом называет то, что по-русски можно назвать описательно, с помощью нескольких слов.

Это, конечно, не значит, что иноязычное всегда лучше своего, родного. История русского языка свидетельствует как раз о том, что многие заимствованные слова, бывшие в употреблении, скажем, в XIX веке, бесследно исчезли, и говорящие по-русски нисколько не пожалели об этом. Кто из носителей современного русского языка знает, например, что такое *индигестия*? Что имел в виду Гоголь, когда в “Мертвых душах” писал о даме, с которой приключилось “небольшое *инкомодите*”? Кто такой *супирант*? Какой смысл вкладывали наши предки в слово *суспиция*? И что они имели в виду, когда считали, что театральный актер излишне *фарсирует*? Сейчас не всякий словарь даст нам ответы на эти вопросы, и мы узнаем, что *индигестия* – это “несварение желудка”, что *супирантом* называли поклонника, воздыхателя, а *суспицией* – подозрение, недоверие к кому-либо, что *фарсирующим* называли актера, который достигает комического эффекта чисто внешними приемами игры [8].

Возможно, и кое-какие из слов-иностранцев, появившихся в последние десятилетия, канут в безвестность, уйдут из нашего языка. Но коль скоро они употребляются сейчас, и порой весьма часто и в разных сферах общения, мы должны знать, что они значат, как соотносятся с близкими по смыслу русскими словами, как надо правильно писать их и произносить, имеют ли они какую-либо стилистическую окраску, образуют ли производные и т.д. Ответы на эти вопросы носитель языка вправе ожидать от составителей современных словарей.

Литература

1. Современный словарь иностранных слов. М., 1992.
2. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 2005.
3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997.
4. Труфанова Н.О. Проблемы номинации лиц в современной финансово-экономической терминологии (на материале русского и английского языков). Автореф. канд. дисс. М., 2006.
5. Современный словарь иностранных слов: толкование, словоупотребление, словообразование, этимология. М., 2000.
6. Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке. М., 1968. С. 22.
7. Захаренко Е.Н., Комарова Л. Н., Нечаева И.В. Новый словарь иностранных слов. М., 2003.
8. Редкие слова и произведения авторов XIX века. Словарь-справочник / Отв. Ред. Рогожникова Р.П. М., 1997.
9. Виноградов В.В. История слов. М., 1994.



УСТНАЯ РЕЧЬ И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ

© И. И. ЗАРЕЦКАЯ,

доктор педагогических наук,

© А. М. БРУССЕР,

кандидат педагогических наук

В реальной жизни далеко не всегда совпадают профессиональная и общая культура личности. Обладающий высоким уровнем профессионализма работник производственной сферы по своей общей культуре, в частности, культуре общения, может оказаться на невысоком уровне. Мы готовы простить иному руководителю грубость, несдержанность, признавая, что он прекрасный организатор. Мы прощаем сквернословие, невоспитанность иному строителю, сантехнику, рабочему под влиянием аргумента: “Но у него золотые руки”, “Он мастер своего дела”.

Возможна ли такая позиция в оценке профессиональной культуры педагога, врача, юриста, актера, журналиста, т.е. профессионалов, для которых культура общения или, как говорят, коммуникативная культура, – показатель их профессиональной компетентности? Их профессиональная этика связана прежде всего с проявлением гуманности, такта, эмпатии и толерантности. Восприятие их профессиональной культуры зависит от того, как они владеют словом, умением убеждать, понимать и принимать другого. А это проявляется в речевой деятельности специалиста.

С развитием рыночных отношений, когда расширяется сфера деловых контактов и повышается ценность активности личности, особое значение приобретает коммуникативная культура любого специалиста. В каждом социально-профессиональном сообществе, будет ли это студенческая группа, научный коллектив, кадровый состав предприятия, фирмы, педагогический коллектив образовательного учреждения, от культуры межличностного взаимодействия, культуры общения во многом зависят и успешность деятельности, и благополучие каждого члена коллектива.

Культура общения имеет особое значение в связи с развитием предпринимательской деятельности, в которой немаловажную роль играет умение устанавливать контакты между партнерами, производителями товаров и услуг, инвесторами, заказчиками, клиентами, поставщиками, потребителями.

Возрастает значимость коммуникативной культуры и в связи с переходом к информационному обществу. Характеризуя его, психологи отмечают парадоксальность информационного общества, проявляющуюся в том, что технически оно объединяет людей, а психологически все более трансформируется в общество тотального одиночества. Это приводит к преобладанию поверхностного, ритуализированного общения над душевным, эмоционально богатым, вытеснению реального общения виртуальным.

В этих условиях культура общения как проявление общей культуры личности служит своего рода компенсаторным механизмом, предотвращающим или, по крайней мере, нивелирующим проявление негативных явлений в общественной жизни и сфере бизнеса, позволяя сохранять нравственно ценные взаимоотношения между людьми.

Живое слово – какое образное определение звучащей, устной речи! Владеть живым словом – значит, уметь передавать свои мысли, чувства; уметь убеждать, склонять к своему мнению; быть интересным и продуктивным в общении. В бытовом, повседневном общении мы редко задумываемся о проявлении культуры нашей речи. Но в деловых, официальных контактах, особенно в публичных выступлениях, соблюдение правил культуры речи – залог того, что вас будут внимательно и с интересом слушать, будут готовы понять, принять и положительно оценить.

Сила устной речи прежде всего в ее эмоциональности, в способности передать тончайшие оттенки мысли и переживаний, что не всегда под силу письменной речи. Интонация живой речи – дополнительный, “паралингвистический код” в устном общении; он позволяет вызвать определенную реакцию собеседника или аудитории слушателей. Дополнительным каналом связи в устной речи становится визуальный канал – мимика, жесты, телодвижения. Они могут выражать чувства человека: радость, изумление, недоверие, могут подчеркивать, усиливать отдельные мысли говорящего.

Любое устное выступление – это разновидность **прямой коммуникации**, когда между общающимися нет преград. Преимущество прямой коммуникации – возможность **обратной связи**, благодаря чему можно своевременно скорректировать свою речь, если заметили непонимание, несогласие, неожиданную реакцию слушателей. Значение обратной связи в процессе непосредственной коммуникации очень убедительно обосновал известный российский физиолог А.Ф. Самойлов: “Если кто-нибудь смотрит на живого человека и разговаривает с ним, то оба эти че-

ловека образуют вместе систему колец, по которым возбуждение бежит, переправляясь с одной клетки на другую... Лектор, читающий лекцию и старающийся по виду и поведению слушателей дать себе отчет о том, как воспринимается лекция, слушатели, вникающие в слова и смысл лекции, образуют все вместе одно целое, одну систему кольцевых путей возбуждения [1].

Владеющие культурой устной речи лектор, менеджер, педагог строят свои отношения с собеседниками, с аудиторией как живое взаимодействие, по принципу отношений не “я” и “они”, а “мы”. И тогда не только содержание речи, но и чувства, убежденность, эмоциональное состояние говорящего передаются слушателям. Проявляется еще одна особенность живого общения благодаря устной речи – возможность **личного воздействия** говорящего на партнеров по общению.

Жизненные обстоятельства и ситуации в профессиональной деятельности, связанные с необходимостью живого общения, чрезвычайно разнообразны, но вне зависимости от цели непосредственного взаимодействия: предполагает ли вы донести определенную информацию; хотите в чем-то убедить коллег или руководителя; стремитесь договориться с оппонентами, – успешность коммуникации во многом будет определяться культурой речи.

В экономической сфере надо уметь вести переговоры с партнерами, клиентами, конкурентами; проводить аналитическую, маркетинговую деятельность; организовывать презентации, убеждать в перспективности и целесообразности ваших предложений. Менеджеру любого уровня важно уметь вдохновить, мотивировать подчиненных; его педагогические функции включают обучение инновационным методам работы, разъяснение ценности новых технологий, обоснование выдвигаемых задач. Он должен уметь проводить оперативные совещания, консультации, практикумы и т.п.

Для радио- и тележурналистов профессионально значимо умение грамотно построить интервью, вызвать расположение приглашенных на собеседование, выступать в качестве ведущих теле-шоу или дебатов.

В педагогической практике речевое общение лежит в основе профессиональной деятельности. Общение учителя с учащимися, преподавателя со студентами, ученого со своими коллегами, аспирантами – это и процесс передачи информации, и постановка проблемных задач, и активизация творческого потенциала слушателей, и консультирование, и научная дискуссия.

В юридической сфере деятельности владение логикой и культурой речи – обязательная характеристика компетентности специалиста. Есть такое понятие – **судебная речь**. Судебная речь должна оказать целенаправленное и эффективное воздействие на суд, на убеждения судей и граждан, присутствующих в зале суда. Обвинительная речь прокурора и защитная речь адвоката выполняют три взаимосвязанных функ-

ции – выяснить, доказать и убедить. Эти функции определяют особенности судебной речи: строгое следование фактам, обоснованная аргументация, логика изложения и убедительность.

В любой сфере деятельности профессионал оказывается перед необходимостью быть готовым к произнесению живого слова, различного по цели, назначению и уровню официальных требований к конкретному виду речи. Но при этом следование законам логики и красноречия – важное условие достижения успеха. А ведь каждый выступающий стремится к тому, чтобы быть понятным, принятым, оцененным по заслугам.

Что же нужно, чтобы овладеть культурой устного выступления, каким бы по цели и статусу оно ни было?

Первое условие – не нарушать грамматических правил языка, не допускать речевых ошибок.

Второе условие – помнить правила построения речи: соблюдать законы логики и учитывать особенности стиля при построении фраз.

Третье условие – добиваться выразительности, эмоциональной насыщенности речи, используя образное богатство языка, развивая способности к ассоциациям.

Герцену, например, в “Былом и думах” достаточно было сказать “зимние глаза Николая”, чтобы дать представление о его облике, а Толстому – “глаза как мокрая смородина” у Катюши Масловой. Как достигается выразительность? Благодаря использованию эпитетов, сравнений, метафор, олицетворения, гиперболы, фразеологических оборотов и других художественных средств языка. Обращая внимание на смысл образной речи, И.Б. Голуб приводит слова Н.В. Гоголя: “Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы изпод самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово” [2].

Как рождается это меткое слово, выразительное воплощение мысли? В основе нашего восприятия лежат ассоциации. К.Ф. Ушинский говорил, что мы можем воспринять только то, что можем с чем-нибудь сравнить. Это объясняется тем, что восприятие подчиняется законам **апперцепции**. Апперцепция – это связь восприятия с предшествующим запасом представлений. Не отдавая подчас себе в этом отчета, не замечая, мы сопоставляем то, что воспринимаем в данный момент, со сложившимся у нас опытом: воспринимаем по аналогии, по контрасту, т.е. сравнивая с тем образом, который вызвал в сознании конкретный предмет или жизненное явление.

Прекрасно раскрыл суть ассоциации К.С. Станиславский. Он обратил внимание на то, что если спросить у человека: “Холодно сегодня или нет?”, то прежде чем ответить “холодно”, “тепло”, “не заметил”, человек мысленно побывает на улице, проверит свои ощущения, вспомнит, как кутались и поднимали воротники встречные прохожие, как хрустел снег под ногами, и тогда он скажет одно нужное слово. Ста-

ниславский подчеркивает, что эти картины промелькнут мгновенно, и со стороны будет казаться, что человек ответит не думая, но картины были, ощущения были, и только в результате работы воображения появился ответ.

У одних эта ассоциативная способность развита в большей мере, у других – в меньшей. Это связано со степенью развития воображения, даже фантазии. Но если чаще задумываться над способами образного выражения своих мыслей, эту способность можно развить. Тем, кому приходится в своей деятельности пользоваться звучащим словом, образность языка поможет стать более убедительным и интересным для слушателей. Правда, например, во время деловых переговоров, требующих определенной строгости, вы вряд ли будете думать об оснащении своей речи художественными средствами, хотя остроумное замечание может внести разрядку при обострении прений и помочь в аргументации ваших идей.

А вот при подготовке к семинарам, конференциям, консультациям, когда цель – не просто передача информации или необходимость убедить руководство, оппонентов, партнеров, но еще и самоутверждение, эмоциональное воздействие на слушателей, образность речи не лишняя. Тем более, если предстоит презентация, теле-шоу или пресс-конференция. Особенности выступления в этих случаях – лаконичность, нестандартность суждений, иногда и полемический задор.

Остановимся и на некоторых других особенностях публичной речи, не менее важных.

На протяжении всего выступления опытный оратор ведет со слушателями **скрытый диалог**, который помогает достичь **эффекта сопереживания**. Возможны две формы сопереживания – интеллектуальная и эмоциональная.

Интеллектуальное сопереживание достигается благодаря тому, что оратор излагает свою точку зрения, рассуждая, как бы публично мыслит. Слушатели следят за его рассуждениями и производят ту же мыслительную работу. Этот ораторский прием так и называется – **“мышление вслух”**.

Эмоциональное сопереживание возникает тогда, когда эмоционально насыщенная речь выступающего, его внутренний подъем вызывает ответную реакцию слушателей. Проявляется “эффект заражения”, который можно наблюдать на митинге или на концерте популярной рок-группы. Эмоциональное сопереживание может стать источником для творчества у слушателя. Известный философ А.Ф. Лосев вспоминал, как под впечатлением вступительного слова А.В. Луначарского перед одним из скрябинских концертов у него было такое состояние, словно все сказанное было обращено именно к нему. Впечатление было таким сильным, что, вернувшись домой, Лосев тут же начал писать статью о Скрябине.

Историк В.О. Ключевский, который был превосходным оратором, так говорит о значимости интеллектуального и эмоционального сопереживания: “Развивая мысль в речи, надо ее сперва вложить в ум слушателей, потом в наглядном сравнении предъявить ее воображению и, наконец, на мягкой лирической подкладке осторожно положить ее на слушающее сердце. И тогда слушатель – Ваш военнопленный и сам не убежит от Вас, даже когда вы отпустите его на волю, останется вечно послушным Вашим клиентом” [3].

Литература

1. *Самойлов А.Ф.* Избранные труды. М., 1967. С. 146.
 2. *Голуб И.Б.* Основы культуры речи. М., 2005. С. 239.
 3. Цит. по: *Кохтев Н.Н.* Риторика. М., 1994. С. 131.
-



Язык прессы

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛОВО

© *М. В. ГОРБАНЕВСКИЙ,*
доктор филологических наук

Правы современные ученые-русисты, говорящие о том, что русский язык – наше национальное достояние, но не такое, которое можно положить в сундук и любоваться им время от времени: отражая наши национальные достоинства, язык не менее ярко показывает и все наши беды...

- Один советский поэт, размышляя о судьбах языка и роли слова, в свое время написал такие строки: “Словом можно убить, словом можно спасти. Слово может полки за собой повести. Словом можно продать и предать. И купить. Слово можно в разящий свинец перелить...”

Строки эти, написанные в прошлом веке, стали еще злободневнее в начале нынешнего, XXI... Согласитесь: современные печатные и эфирные СМИ переполнены жаргонной, блатной лексикой, хамскими выражениями и оборотами. Редакции не гнушаются использовать и откровенные ругательства. Иногда создается впечатление, что к началу XXI века мы разучились нормально говорить и писать по-русски. Для примера можно вспомнить о том “языке”, на котором общались между собой персонажи печально запомнившегося телевизионного шоу “За стеклом” и какую “русскую речь” навязывал телеканал ТВС? В косноязычной болтовне “застекольных” киборгов то и дело мелькало словечко “фиолетово” (то есть “все равно, на все наплевать”). Вот и бывшим руководителям бывшего ТВС было “фиолетово”. Ради денег от рекламы и удовлетворения претензий на ведущую свою роль в отечественном ТВ они явили нам образчик нравственного беспредела и оскудения речевой культуры...

Подобная, если использовать молодежный сленг, “безбашенность” современной прессы ведет к утрате лучших традиций российской журналистики. Если взять публикации начала XX века (например, времен русско-японской войны, так называемого предреволюционного кризиса, или Первой мировой войны), то можно увидеть, что очень известные журналисты, публицисты умели писать хлестко и едко, не пускаясь

во все тяжкие и не используя похабной лексики, которая, по определению, ассоциируется в сознании нормального носителя русского языка с представлением об оскорблении, об очернении деловой репутации, об унижении чести и достоинства человека или организации, дела, за которым стоят люди. Ведь есть и ирония, и эзопов язык, и метафора, и метонимия, и синекдоха, и оксюморон, и еще много других выразительных языковых средств и приемов. Зачем же разоблачаться перед обществом до конца, являя собой навозного жука! Этим самым в обществе тормозится развитие российской журналистики и падает, что совершенно очевидно и очень печально, корпоративная репутация профессии журналиста в обществе.

Если раньше СМИ являлись в языковом сознании неким ориентиром литературных норм, то теперь абсолютная вседозволенность и безнаказанное использование в публичной речи бранной, нецензурной, обидной лексики, хуления становится нормой языкового поведения, влияет на формирование языковой культуры молодого поколения и, следовательно, жизненной этики.

Не хочу прослыть пуристом и говорить, что меня чрезмерно беспокоит встречающаяся порой недостаточная лингвистическая подготовка телеведущих (это легко исправить!) или что считаю страшным скандалом сказанное героем телерепортажа “ложит” вместо “кладет” и т.д. Откровенно говоря, мне близок тезис тех теоретиков русской стилистики и культуры речи, которые считают: само понятие нормы не существует без ее нарушения.

И все-таки хочется напомнить журналистам, редакторам, корректорам и хозяевам СМИ (считаю, что и они теперь несут за СМИ такую же ответственность, как журналисты), что правила созданы для того, чтобы их выполнять. Правила русской грамматики, русского синтаксиса, лексикологии, орфоэпии, стилистики, сочетаемости слов в какой-то мере можно сравнить с правилами дорожного движения. Например, мы знаем, что нельзя совершать обгон с выездом на противоположную полосу движения на мосту. И вот ты едешь вечером, машин мало, притопил педаль газа – и вперед! Девять раз проскочишь, но на десятый столкнешься лоб в лоб с КАМАЗом...

Правила помогают языку выполнять основную функцию – коммуникативную: передавать и адекватно получать передаваемую информацию. До какого-то предела неправильная падежная форма, неправильное ударение, неправильная синтаксическая конструкция не влияют на смысловое различие. Пользователь продерется сквозь этот бурьян и поймет в итоге, о чем идет речь. Но, продираясь, он может понять что-то не совсем адекватно, и это может иметь в каком-то случае самые непредсказуемые последствия!

Журналист должен помнить, что его основной инструмент – это родной язык. И именно журналист в конечном счете за него отвечает. Хотя

бы потому, что говорит и пишет чаще других. Да еще публично! И журналистский коллектив должен уметь объяснять своему хозяину, что и ему, капиталисту, невыгодно, чтобы общественная репутация журналистики и дальше мельчала. Иначе его медиахолдинг превратится в шоу-холдинг, а это будет уже что-то другое.

“Как слово наше отзовется” – это исходный принцип всякой речи, любого пишущего, говорящего (даже в бытовой ситуации), а тем более профессионального сотрудника печатных, электронных и сетевых СМИ. А он предполагает не только заботу о моральном, нравственном комфорте адресата речи, текста, но и в не меньшей степени – элементарную порядочность, гражданскую честность журналиста.

Надо, разумеется, признать: и в советские времена над нашим языком производилось насилие. Он пропитался духом коммунистической пропаганды (“вместе со всем народом”, “по зову партии”, “к великим свершениям”, “неуклонно повышая удойность”...). Он обозначал реалии экономики тотального дефицита (“просили больше не занимать”, “больше двух в одни руки не давать”...). Вспоминается давний монолог М. Жванецкого: «Наши беды непереводимы... Что такое “вы здесь не стояли, а я здесь стоял”; что такое “товарищи, вы сами себя задерживаете”; что такое “быть хозяином на земле”... Наш язык перестал быть языком, который можно выучить».

К сожалению, насилие над “великим и могучим” продолжается и сегодня, в эпоху первоначального накопления капитала.

Вседозволенность породила и такую напасть, как разгул нецензурицины в общественных местах и в СМИ.

Существует научный термин – инвективная лексика и фразеология. Это слова и выражения, заключающие в своей семантике, экспрессивной окраске и оценочном компоненте содержания интенцию (намерение) говорящего или пишущего унизить, оскорбить, обесчестить, опозорить адресата речи или третье лицо, обычно сопровождаемое намерением сделать это в как можно более резкой и циничной форме. Прилагательное *инвективный* – производное от существительного *инвектива*. Это слово, означающее “резкое выступление против кого-либо, чего-либо; оскорбительная речь; брань, выпад”, восходит к лат. *investiva oratio* (что переводится именно как “бранная речь”). К инвективной лексике относится, в частности, обценная (“запретная”) лексика (мат).

Можно назвать несколько функций того, что в быденном языке мы называем “матерщиной”. Главная функция мата: оскорбить, унижить, опорочить адресата речи. Далее: сигнализировать о принадлежности говорящего к “своим”; продемонстрировать собеседнику свою реакцию на систему тоталитарных запретов; показать, каким свободным, раскованным, “крутым” является говорящий; сделать речь более эмоциональной; разрядить свое психологическое напряжение. Как не-

однократно подчеркивал известный ученый-психоллингвист А.А. Леонтьев, жесткий запрет на публичное употребление обсценной лексики и фразеологии, идеографически и семантически связанное с запретной темой секса, сексуальной сферы, вообще “телесного низа”, сложился у восточных славян – предков русских, украинцев, белорусов – еще в языческую эпоху как прочная традиция народной культуры и строго поддерживался и поддерживается Православной церковью на протяжении тысячи лет. Так что данное табу имеет в русском народе давнюю традицию...

Однако традиция эта в СМИ сейчас слишком часто нарушается, причем не в запале, не в состоянии аффекта, а сознательно – как собственный и продуманный выбор того или иного репортера, редактора, комментатора. Они, видимо, не отдают себе отчета в том, что непристойность относится не только к объекту слова, но и к произносящему это слово, так как человек, владеющий нормальным литературным языком во всех его функциональных стилях (публицистическом, деловом и др.), должен иметь **внутренний запрет** на употребление подобных слов.

Многие задают вопрос – может или не может понести наказание журналист за столь безответственное поведение в печати и эфире – за матерщину? И если может понести – то какое?

Откроем главу 20 “Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность” Кодекса об административных правонарушениях, принятого Госдумой в декабре 2001 г.: “Статья 20.1. Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам или другие действия, демонстративно нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, – влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда или административный арест на срок до пятнадцати суток”. Вообще, в цивилизованной стране государство должно эффективно выполнять роль “ночного сторожа”, оно должно следить за тем, чтобы никто ни у кого ничего не украл, чтобы никто не убил, чтобы соблюдались законы, которые люди выработали в этом государстве.

Газетная или журнальная полоса, радио- и телеэфир для законопослушного гражданина – это тоже общественное место! И если за нецензурную брань в общественных местах законодательно установлено достаточно серьезное административное наказание (включая арест до 15 суток), то правоведам должны добиться, чтобы по ст. 20.1 так могли бы наказываться и журналисты, матерящиеся в эфире, на страницах печатных СМИ – они выполняют, между прочим, и общественно значимую работу...

В заключение не могу не привести цитату из статьи “Поэзия прозы” Константина Паустовского, который был не только прекрасным рус-

ским писателем, но и энергичным защитником родной русской речи: “По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку. Человек, равнодушный к родному языку, – дикарь. Он вредоносен по самой своей сути, потому что его безразличие к языку объясняется полнейшим безразличием к прошлому, настоящему и будущему своего народа”. Эти жесткие и справедливые слова должен вспоминать каждый перед тем, как приступить к созданию текста в печати, к выступлению на радио или телевидении, общественной трибуне.

к 40-летию журнала



**Игумен Даниил
и его невольные “соавторы”**

© А. А. ПАУТКИН,
доктор филологических наук

Девятьсот лет назад отправился в свое многотрудное странствие к святым местам игумен Даниил. Он не был первым паломником, пришедшим в Иерусалим из русских земель, но именно этот человек оставил нам свой взволнованный рассказ о христианских святынях, а его произведение стало древнейшим образцом жанра *хождений*. Даниил – современник печерского летописца Нестора, который к тому моменту еще не завершил свою работу над “Повестью временных лет”. На его глазах разворачивалось противостояние Владимира Мономаха и Олега Святославича, а вернувшись из своего паломничества, он вскоре оказался свидетелем триумфа политики Мономаха, сменившего в 1113 году на киевском престоле Святополка Изяславича.

Большую часть пути игумен преодолел на корабле, на борт которого поднялся в Царьграде. Неспешное плавание по Средиземному морю, изобиловавшее остановками на островах и в городах Малой Азии, позволило автору хождения познакомиться с достопамятными местами в истории христианства, подготовило странника к встрече с долгожданным берегом Палестины. Здесь и началась самая значимая, пешая часть путешествия, получившая в записках русского игумена наиболее подробное освещение.

Характеризуя повествовательную манеру игумена Даниила, медиевисты обычно определяют ее как незатейливую, безыскусную. Сам автор осознавал, что поведал о Святой Земле “не хитро, но просто” [1]. Настоятель одного из небольших провинциальных монастырей, родившийся, скорее всего, в 60-е годы XI века, действительно, не принадлежал к числу русичей, “преизлиха насыптьшемся сладости книжныа” [2]. Этот упорный и любознательный, крепкий верой человек сумел донести до читателя радость приобщения к святыням, найти подкупающий своей естественностью тон рассказа об увиденном. Признание же паломника в “худомии и грубости” – не более чем топос, ничего не добавляющий к портрету автора (недаром в некоторых списках хождение названо “Житие и хождение Даниила, Русской земли игумена”).

Исследователей со времен Н.М. Карамзина чаще других вопросов интересовали происхождение игумена (предпочтение отдается Черниговской земле) и характер его миссии. Не выполнял ли Даниил некие дипломатические поручения светских властей? Но не менее существенен вопрос о том, какие обстоятельства и люди определили кругозор паломника, позволили ему столь живо и детально передать реалии далекой Палестины.

В одной из своих работ А.С. Демин попытался на примере ряда памятников очертить “мироотношение” древнерусских писателей (так появились рабочие определения: *автор-строевик*, *хозяйственный автор* и т.д.) [3]. Древнейший образец паломнического хождения в этом отношении весьма неоднороден и даже противоречив. Инок, “сомеренный грехи многими”, демонстрирует разнообразные жизненные познания. Он оценивает новый для него мир с разных позиций, взирает на земли, по которым ему довелось пройти, не только глазами монаха. Что это – результат книжной изошренности Даниила или неизбежное следствие освоения огромного материала, давления на автора путевых записок бесконечного потока впечатлений?

Было бы неверно видеть в Данииле странника-одиночку, предоставленного на чужбине самому себе. В таком же положении много позже окажется тверской купец Афанасий Никитин. И хотя русский игумен мало говорит о сотоварищах, практически на всех этапах путешествия паломник входил в определенное сообщество единомышленников. Стремление присоединиться к группе (“обретохом добру дружину мно-

гу”), иметь провожатых психологически естественно и понятно. В “Житии Феодосия Печерского” говорится о том, как будущий настоятель Печерской обители, “слыша... о святых местех, идеже Господь наш Иисус Христос плътию походи” [4], поспешил отправиться в путь вместе со странниками, прежде уже бывавшими в Палестине. Драматические события неудачного паломничества юного Феодосия, длившегося всего три дня, происходили на полвека раньше, в середине XI века. Но уже тогда паломничество было деянием коллективным.

В повествовании Даниила заметно проявление неуверенности и страха перед неведомыми просторами, опасностью подвергнуться нападению сарацин. В “дружине” же паломник чувствует себя радостно и “без боязни”. Отдельные обмолвки автора позволяют видеть в Данииле человека, возглавлявшего целую группу паломников из Руси. Об этом говорит и неоднократное употребление в тексте хождения форм множественного числа: *и видехом, и ту поклонихомся, приходихом* и т.д. Были с ним выходцы из разных городов и земель. По крайней мере, названы “новгородци и кияне”. Знаем мы и имена двух спутников Даниила – это Изяслав Иванович и Городислав Михайлович Кашкича. Столь почтительное, с отчествами, обращение к своим землякам, выделение их из общей группы, свидетельствует о том, что среди паломников были люди знатного происхождения, скорее всего, из бояр или видных дружинников.

Придя в Иерусалим, Даниил нашел себе пристанище в знаменитом монастыре Саввы Освященного, который расположен южнее города. Отсюда совершал он свои экспедиции по Святым местам. В обители паломнику посчастливилось встретить старца, полюбившего его. Этот книжный человек превратился в “вожа добра”, он сопровождал русского игумена на Тивериадское озеро, гору Фавор, в Назарет и Хеврон, на берега Иордана и в другие пункты, привлекавшие внимание паломника. С его помощью любознательный автор не только смог “испытати и видети всех святых мест”, но и безошибочно соотносит увиденное с событиями священной истории (“от святых книг испытав добре”).

Со своими земляками и мудрым старцем из монастыря Саввы Освященного Даниил провел немало времени, делил с ними впечатления и тяготы долгого пути. Но был и еще один необычный человек, оказавший большое влияние на игумена и его дела. Это – неустрашимый крестоносец Балдвин Эдесский, правивший в Иерусалимском королевстве в годы странствий русского игумена. Король Балдвин, по словам Даниила, – “муж благодетен и смирен вельми и не гордит ни мало”. Он принимал автора хождения в своих покоях на Сионской горе, узнавал его на многолюдной улице, не раз милостиво предлагал ему свою помощь. Крестоносец испытывал к русичу те же добрые чувства, что и старец из монастыря Святого Саввы (“познал мя добре и люби мя вельми”).

Все эти люди, говорившие на разных языках, а подчас даже представлявшие иную конфессию, по-своему влияли на автора хождения,

привносся в его текст частицу индивидуального восприятия мира. Единые в главном, они были людьми со своим темпераментом, жизненным опытом и профессиональными навыками. Это – своеобразный коллектив невольных “соавторов” Даниила. Не будем смешивать их с различными информаторами, которых у путешественника, проводящего только в Святой Земле шестнадцать месяцев, конечно, было множество. Именно жанр хождения, в большей мере допускавший проявления писательской индивидуальности, дает возможность говорить об отражении в одном тексте не только авторской, но и “несобственно-авторской” точек зрения. Обусловлено это тем, что в хождениях всегда сильно познавательное начало, стремление автора представить в слове не событие, а объект или явление.

Желая увидеть как можно больше, Даниил без устали собирал все новые и новые сведения. Он хотел во всем убедиться сам, потрогать предметы, измерить их. При этом путешественник использовал не только *версты, сажени, локти и пяди*. Подчас он прибегал к необычным мерам длины, позволяющим создать наглядную картину действительности. Все это не вяжется с обликом смиренного инока, звучит в его устах чужеродно. Так, игумен сообщает, что от пещеры, где был предан Христос, и до места, “иде же помолися Христос отцу своему в нощи”, можно добросить небольшим камнем. И это пишет человек, который с благоговением сообщил о том, как он тайно стал обладателем святого камня из Гроба Господня, и напомнил несведущим о мученической кончине Стефана Первомученика, побитого камнями.

И уж совсем удивительны попытки монаха обозначить расстояния между объектами, применив такую меру, как дальность полета стрелы: “яко дострелить”. Причем в эту единицу могут вноситься поправки и уточнения: “яко может сострелити добр стрелец” или “яко дострелити добре”. То есть различается дальность стрельбы обычного и хорошего лучников. Получается, что игумен обладает глазомером дружинника или охотника. Он определяет дистанции, кратные полету стрелы: “3-жды выстрелити едва”. Более того, различается дальность стрельбы по горизонтали и вверх или вниз. Фаворская гора имеет такую высоту, что с нее можно “стрелити” четырежды. Если же стрелять “на ню” (то есть снизу вверх), то и за восемь раз “не дострелишь” (ср. с вполне понятным дружиннику уточнением о месте пленения Игоря Святославича в летописной воинской повести 1185 г.: “Един перестрел одале”). Эту манеру наглядно представлять расстояния позднее отчасти перенял купец Трифон Коробейников, оставивший свой рассказ о путешествии по Святым местам Востока в 80-е годы XVI века.

Столь же неожиданно оценил игумен высоту камня, где совершалось распятие: “Высоко было яко стружия выше” (то есть выше копья). Копье на Руси имело тогда длину около двух метров. У кого же научился сторонящийся всего суетного монах по-военному ориентироваться

на местности? Скорее всего, ответ следует искать в описании иерусалимской башни Давида. Сначала паломник извещает читателя: в этом месте пророк “Псалтырю составил и написал”. А далее высокий, дивный “столп”, сложенный из камня, оценивается с точки зрения его оборонительных возможностей. Это – цитадель, господствующая над городом, пункт “многотверд ко взятию, глава всему граду”. Тут огромные запасы провианта и воды, позволяющие выдержать длительную осаду. В сильно охраняемую башню, куда нет хода посторонним, Даниил сумел проникнуть и даже поднялся наверх, сосчитав двести ступеней внутренней лестницы. Но побывал он в башне не один. Игумен привел “с собою единого” из своих спутников — Изяслава Ивановича. Не исключено, что следы разъяснений и оценок этого мирянина, не чуждого ратного ремесла, по поводу деталей, ускользающих от взора монаха, и сохранились в хождении. Мнение Изяслава было необходимо автору тогда, когда он не мог сам измерить объект (точно также он устанавливал расстояния на море, спрашивая у византийских моряков число миль между островами). Перечисленные уточнения в тексте хождения делали записки Даниила доступными не только духовному лицу. Увиденное паломником легко мог представить себе и всякий грамотный мирянин – князь, боярин или дружинник.

Каждый из пунктов, отмеченных в хождении (в том числе и за пределами Святой Земли), интересен путешественнику, прежде всего, в связи с историей христианства. Однако автора не оставляют равнодушным и всевозможные хозяйственные вопросы. Они попадают в поле зрения паломника еще до его высадки на берег в Яффе. В ряде случаев словно бы слышится голос купца, а не просто хозяйственного игумена. Отмечаются местные ресурсы, состояние земледелия, климатические условия. Эфес “обилен же есть всем добром”, а на Самосе “рыбы многы всякы”. В окрестностях Иерусалима, несмотря на сушь, собирают обильные урожаи пшеницы и ячменя: “Едину бо кадь всеяв и взяти 90 кадей”, а то и больше (ср. с “рыночными” известиями Новгородской I летописи: “Кадь ржи купляхуть по 10 гривен, а овса по 3 гривне...”). Особое внимание уделено снабжению продуктами Иерусалима: Самария, например, поставляет “все добро”, а Хеврон дает масло, вино, яблоки и мед. Уж не наблюдениями ли одного из новгородских торговых людей, состоявших в “дружине” паломников, делится с читателями автор?

В тексте хождения легко выделяются сообщения о том, что игумен видел “очима своима” (особенно ярко передано пасхальное богослужение у Гроба Господня и чудо сошествия благодатного огня). Но есть и краткие свидетельства о том, чего сам паломник, к счастью, не испытал. Так, об одном из коварных ущелий он говорит: “Биют сарацины в горе той”. Скорее всего, это – высказывания фриггов. Неоднократно в тексте появляется название города, который воспринимается в каче-

стве главной угрозы всякому христианину. Это – Аскалон, крепость на пороге Египта. Город будет завоеван крестоносцами, да и то на короткое время, лишь в середине XII века, а пока: “Выходят бо оттуду сарацины и избивают странья на путех тех”. Не вдаваясь в возможные причины благосклонности Балдвина к Даниилу, заметим: русский игумен заранее узнал о готовящемся походе рыцарей на Дамаск и присоединился к коннице крестоносцев, уходящей на Сирию. Путь к Тивериадскому озеру “страшен вельми”, его он проделал верхом под защитой воинов Балдвина, от которого и мог узнать о горячих точках на границах Иерусалимского королевства, о сложной обстановке, побуждавшей короля совершать локальные походы.

Заметить в хождении следы еще одного “соавтора” – доброго “вожжа” – труднее всего, ведь в жизни и умозрении двух иноков много общего. Их взгляд на святых един, несмотря на то, что безымянный помощник из обители Святого Саввы старше годами (“стар деньми”) и знает гораздо больше. Как раз этому человеку читатели хождения обязаны главным – соединением христианской книжности с радостным чувством приобщенности к святыням. Возможно, из его рассказов перешли в текст хождения апокрифические мотивы, а также нечастые греческие слова и топонимы.

Отмеченные особенности древнейшего рассказа о Святой Земле позволяют сделать вывод о том, что помимо умения лаконично передать увиденное, Даниил обладал талантом общения и прекрасной памятью. Восприимчивый странник сумел воспользоваться не только разнообразными фактическими сведениями, но и не пренебрегал чужими оценками и характеристиками, дополняя ими свое повествование.

Литература

1. Хождение Игумена Даниила // ПЛДР. XII век. М., 1978. С. 24–115.
2. “Слово о законе и Благодати” митрополита Иллариона // ПРЛДР. XVII век. М., 1994. Кн. 3. С. 584.
3. Демин А. С. Художественные миры древнерусской литературы. М., 1993. С. 72–100.
4. Житие Феодосия Печерского // ПЛДР. XI – начало XII века. М., 1978. С. 310.





“Урядник сокольничьего пути” – памятник деловой письменности XVII века

© О. В. НИКИТИН,
доктор филологических наук

В истории русского литературного языка важное место занимают источники, отражающие живую разговорную речь; традиции деловой письменности, сочетающие в себе местный колорит, обиходную терминологию, бытовую словесную культуру. Один из подобных памятников – “Домострой” – явление в историко-культурной традиции XVI века.

Особое значение имеют сочинения, которые модифицируют церковнославянскую ориентацию и продолжают синтез светской и приказной культуры благодаря сближению с русским терминологическим обиходом. Такие памятники находятся в “пограничной полосе” межжанрового разнообразия и в целом представляют собой оригинальное переплетение языковых красок, приближенных к словесному колориту

деловой письменности. Важную роль в этих трудах играет исторический фон, на котором и разрабатываются своды правил: *лечебники* (как лечить), *азбукovníки*, *письмовники* (как учить, учиться), *урядник* (как устраивать охоту по чину) и др. Все они в той или иной мере широко используют терминологию как способ лингвистической адаптации новых языковых средств в условиях переходного периода упрощения системы церковнославянской книжности.

Заметим, что подобные сочинения, с одной стороны, имеют назидательный характер (они обучают тому или иному ремеслу), с другой – их повествовательная структура и довольно свободная манера изложения не связаны канонами книжной культуры. В таких сочинениях применялись традиции разных литературных жанров, в том числе и заимствованных, а авторы зачастую экспериментировали с различными пластами текста. Деловая письменность в этом отношении отнюдь не находилась в стороне от активных процессов формирования основ национального языка. Ее содержательные и формальные “рекомендации” нередко находили удачное совмещение с элементами других типов письменных текстов.

XVII век не только переходный период в сфере лингвокультурных связей, но и важный этап в образовании новых жанров и произведений, иногда единичных и уникальных в своем роде, создававших текстом языковой прецедент. Одним из таких интересных и малоизученных источников является “Урядник сокольничьего пути”, или, как официально именуется данный труд, “Книга глаголемая урядник новое уложения и устроения чину сокольничья пути”. Это историко-культурный и одновременно деловой трактат, рассказывающий о соблюдении сложного церемониала “сокольничья пути”.

Предполагают, что данное произведение было создано при непосредственном участии царя Алексея Михайловича, бывшего знатоком, устройтелем церемониала и инициатором ведомства царской соколиной охоты. Уже само название *Урядник* свидетельствует о приказном характере сочинения и его обращенности к сфере правил, гражданского устава. В.И. Даль, отметивший это слово в указанном значении, дает и производные лексемы, а также фиксирует корневую основу *уряд*-со сходными “деловыми” оттенками: *урядливый* “хозяин, разумный, порядочный, распорядительный”, *урядничать* – “распоряжаться, командовать, быть большаком”; *урядничья* – “должность, звание”; *урядный* – “порядочный, устроенный, стройный”; *урядство* – “ср. стар. порядок, устройство”; *урядчик* – “начальник, чиновник; распорядитель, распорядчик”; *уряд* – “порядок, обиход, законный или обычный ход, устройство” [1. Т. IV]. Кроме этого, в великорусском обиходе сохранились поговорки и устойчивые выражения, использующие приказный смысл данного словесного ряда: *У нас свой уряд, такие порядки; Со своим урядом в люди не ходят; Церковный уряд; Указ осторожный об уря-*

де; Наперед сидеть – уряд держать; Непорядки в дому – не урядки [Там же]. *Урядом* в старину называли также “управление, место, заведывающее порядком. *Грамоту записать в полковом уряде*” [Там же]. И так, и древнее, и новое (XIX в.) значения слова охватывают “семантику регул”, предписывают правила, устанавливают порядок.

Соответственно назначению этого памятника строится текстовой порядок, и обслуживающие его лексико-фразеологические средства, в выражении которых ощутимый импульс придаетс компонентами деловой письменности, светской речи. Показателен зачин произведения, который определяет и последующий стиль текста: “Государь, царь и великий князь, Алексей Михайлович, всеа Великия и Малыя и Белья Росии самодержец, указал быть новому сему образцу и чину для чести и повышения ево государевы красныя и славныя птичьы охоты, сокольничья чину. И по ево государеву указу никакой бы вещи без благочиния и без устроения уряженого и удивительного не было, и чтоб всякой вещи честь, и чин, и образец писанием предложен был. Потому, хотя мала вещь, а будет по чину честна, мерна, стройна, благочинна – никто же зазрит, никто же похулит, всякой похвалит, всякой прославит и удивитця, что и малой вещи честь и чин, и образец положен по мере. А честь и чин и образец всякой вещи большой и малой учинен потому: честь укрепляет и возвышает ум, чин управляет и утверждает крепость” [2. С. 286].

В этом отрывке даны оценка сути “государева указа”, его цель и назначение: “Урядство же уставляет и объявляет красоту и удивление, стройство же предлагает дело” [Там же]. До сих пор мы не встречали источника, где столь колоритно и любовно в ткань “деловой прозы” вплетались эпитеты, прославляющие соколиную охоту: “И зело потеха сия полевая утешает сердца *печальныя*, и забавляет веселием *радостным*, и веселит охотников сия птичьы добычя. *Безмерна славна и хвальна* кречатья добычя. *Удивительна* же и утешительна и челига кречатья добычя. *Угодительна* же и потешна дермлиговая переласка и добычя. *Красносмотрительно* же и *радостно* высокова сокола лет. *Премудро* же челига соколя добычя и лет. *Добровидна* же и копцова добычя и лет [здесь и далее курсив в цитатах наш. – О.Н.]” [Там же. С. 287].

В этом же контексте фигурируют и элементы делового стиля: устойчивая формула начала зачина; выражения *по ево государеву указу, учинен потому, начальным людем*. “Урядник” не лишен литературности и воспринимается как памятник древнерусской книжности, но особого жанра светского, бытового устава, имеющего специальную профессиональную направленность.

В тех случаях, когда повествование обращается к описанию дворцового обихода XVII века, стиль текста выходит за рамки деловой письменности благодаря красочному, эмоциональному языку. Вот как описываются “Статьи до государева пришествия ко устроению, ко уряжению, к славочестию нововыборному” (фрагмент 1-й статьи): “Егда же

приспеет час к государственной милости к нововыборному, тогда подскольничей, Петр Семенович Хомяков, велит переднюю избу соколеного пути нарядить к государеву пришествию. И велит послать ковер диковатой и положить на ковер озголовья полосатое бархатное: а пух в нем диких уток. А живет то озголовья и ковер в казне соколенного чину. И противу государева озголовья и золотова ковра велит поставить 4 стула нарядные, а на них велит посадить 4 птицы: а стулы поставят сим образом: II. А промеж стулов велит сена наслать и покрыть попоною, где нарежат нововыборного. На 1 стул посадить кречета, на 2 стул посадить челига кречатья, на 3 стул посадить сокола, на 4 стул посадить челига соколя. А будет не лучитца челига соколя, и в то место посадить сокола на 4 стул. А сидеть птицам на тех стулах розных всех статей первым птицам” [Там же. С. 288].

В этом фрагменте весьма полно отражен церемониальный этикет, с подробностями характеризующий атмосферу и обычаи приготовления к пожалованию сокольника из рядовых в “начальные”. Несмотря на необычный (в текстологическом отношении) обряд, он оформлен согласно законам делового письма. В нем присутствуют упрощенный синтаксис, приближенный к разговорному – *а живет*; *а промеж*; *а будет*; *а сидеть*, а также элементы живой речи – *золотова*; *не лучитца*.

С другой стороны, какой бы образной оболочкой ни покрывался текст, он составлен профессионалами – знатоками соколиной охоты, и отражает богатый опыт подьяческого письма. В сочинении зафиксированы специальные термины и обозначения, например, названия пород птиц и атрибуты, касающейся особенностей их обитания: *челига*, *дермлиговая переласка*, *розмыть*; названия отдельных предметов (иногда встречаются целые терминологические сочетания, состоящие из характерных лексем этой понятийной системы наряда соколов): «А мало по-норовя, подскольничей а молят: “Начальные, время наряду и час красоте”. И начальные емлют с стола наряд: 1-й, Парфеней, возьмет *клубучек*, по бархату червчетому шит серебром с *совкою* нарядною; 2-й, Михей, возьмет *колокольцы*, серебряные позолочены; 3-й, Левонтей, возьмет *обнасцы* и *должик* тканые з золотом волоченым. И уготова весь наряд на руках, подшед к потсокольничему, начальные сокольники нарежают кречета; Левонтей кладет *обнасцы* и *должик*, Михей кладет *колокольцы*, Парфеней кладет *клубучок* с *совкою*. А наряда начальные кречета, отступают к прежним своим местам» [Там же]. Из этого отрывка следует, что *клубучок* – “колячок, надевавшийся охотничьей птице на голову и затягивающийся сзади ремешком; для клюва птице оставляли отверстие”; *совка* – “подвижная часть клубучка, она прикрывала птице глаза”; *обнасцы* – “путы (по другим данным – олучки), надеваемые на ноги ловчей птицы”; *должик* – “тонкий ремень или шнурок, который одним концом был пришит к охотничьей рукавице, другой его конец, продетый через колечко у обножий, держал в руке сокольник” [2. С. 621].

В тексте отмечаются и другие термины соколиной охоты, например, *вабило* – “приманка для ловчей птицы – кусок мяса, преимущественно голубиного, ввязанного в связку перьев, иногда крыло птицы, оторванное с мясом”; *вацага* – “колотушка, которой, ударяя по бубну, спугивали дичь во время охоты”, а по мнению С.Т. Аксакова, “сумка, в которую кладется вабило”; с *лясками* – “по предложению П. Бессонова, это приманка для птиц” [2. С. 621–622]: “А нововыборного статьи поддатни, рядовые сокольники, емлют с стола последней наряд: 1-й поддатень, Федька Кошелев, держит *вабило*; 2-й поддатень, Наумка Петров, держит *вацагу*, 3-й поддатень, Кирюшка Мослов, держит рог серебряной; 4-ый поддатень, Елисейко Батовов, держит полотенцо”; “...станет Кирюшка Маслов с *лясками* да с путы золотыми...” [Там же. С. 291, 296].

В сочинении обильно представлены наименования должностей, чинов: *начальные сокольники, редовы[е] сокольник[и], старшей потсокольничей, спальник, подъячей, потсокольничей, начальный*. Также подробно описаны предметы обихода – одежда и утварь: “Велит потсокольничей вздеть на нововыборного государево жалованье: *новой цветной кафтан суконной, с нашивкою золотною или с серебряною: х какому цвету какая пристанет; сапоги желтые*”.

Как видно из представленных фрагментов, текст этого произведения обладает широкими стилевыми и терминологическими возможностями. Он вобрал в себя активный словарь приказной письменности, особенно бытовую лексику, использует характерные понятия охотничьего дела. У авторов не было цели надломить сложившиеся языковые традиции, напротив, все они – от устно-поэтических и книжных до разговорно-просторечных и деловых – нашли удачное совмещение на общем фоне единой проблематики.

“Урядник” в большей мере использует разнообразные лексико-фразеологические средства делового языка, чем произведения книжно-литературные, исторические, научные. Для удобства воспроизведения чина соколиной охоты не надо было изобретать особого подхода, а стоило лишь применить имеющиеся установки подьяческой культуры к конкретной социолингвистической ситуации. Поэтому многочисленные лексемы, сочетания и обороты приказного языка здесь присутствуют в каждой статье, образуя и целые “деловые” пласты, и выступая индивидуально как образцы письменного клише. Такие примеры весьма показательны. Вот образец объемного фрагмента, представляющего собой сколок приказного документа:

“В прошлом, во 157 (1649) году, взят ты по нашему, великого государя, указу в нашу государеву сию славную и от нас милостивую охоту, и был ты, по нашему государеву указу, в 1-й статье, у 1-го начального сокольника Парфенья Яковлева, сына Тоболина, в поддатнях, и за нашею государевою охотою ходил с прилежанием, и нам великому государю служил, и тешил нас великого государя 7 лет...

И будет по сему нашему государеву указу вся сия исправиши с радостью, и ты от нас, великого государя, наипаче пожалован будеши. А будет учнешь быть не охочь и нерадетелен и во всяком нашем государеве деле непослушлив, ленив, пьян, дурен, безобразен и к потсокольничему и к своей братье, к начальным сокольникам непокорен, злословен, злоязычен, клеветлив, нанослив, переговорьчив и всякого дурна исполнен – и тебе не токмо связану быть путы железными или потписану за третью вину, безо всякие милостивые пощады быть сослану на Лену. И будет хочешь добра найти или зла, смотри на рукавицу, и там всякого явного добра и зла насмотрися, и радоватися начнешь, и усумневатися станешь. И тебе бы, видя нашу государеву милость к себе, нам великому государю работать безо всякого збойства и лукавства, а милость наша государева с тобою да умножитца” [2. С. 292–293].

Приведем еще наиболее типичные образцы “деловых” клише, используемых в тексте памятника: *и с поддатнями государю челом ударит; и челом удара государю; велит держать подле себя до указу; а потсокольничей, пооправаяся и поучиняся; готов идти по государеву указу; нововыборный сокольник Иван Ярышкин на государской милости челом бьет; учнут молитца; нововыборной твой государев сокольник Иван Гаврилов, сын Ярышкин, вам, великому государю, челом бьет; держит шапку до указу; по государеву указу...; учнет противу той речи государю свою речь говорить; а как челом ударит новопожалованный начальный государю; челом ударит государю по обычаю; потсокольничей с товарищи; учнут их кормит живыми птицами, какие прилучатца; и подьячей, Василей Ботвиньев, пришед к потсокольничему Петру Хомякову с товарищи... и др.*

И хотя в анализируемом сочинении заметна индивидуальная авторская линия, выводящая его на иной жанровый уровень и создающая простор для языковых “маневров”, оно не возникло “само по себе”, а испытало определенную традицию приказной литературы того времени, соединенную с богатым опытом в области специальной (соколиная охота) деятельности. О связи этого памятника с официальным делопроизводством говорит тот факт, что отдельные статьи “Урядника” интерпретированы в “Соборном уложении” царя Алексея Михайловича 1649 года. Приведенный нами фрагмент содержит такую фразу: “...и тебе не токмо связану быть путы железными или *потписану за третью вину, безо всякие милостивые пощады быть сослану на Лену*” [2. С. 293]. Это выражение имеет очевидную схожесть со статьей “Указ о корчмах”, где, в частности, говорится: “...а будет кто в таком воровстве объявится втретие, и их *за ту третью вину бити кнутом* по торгом, и посадити в тюрьму на полгода. А на тех людех, кто у них корчемное питье учнет покупати, имати заповеди, въпервые по два рубли на человеке, да их же бити батоги нещадно; а будет кто в таком деле объявится вдругоряд; и на них заповеди имати по четыре рубли на челове-

ке, да их же бити кнутом на козле, и сажати в тюрьму на две недели; а за третью такую вину заповеди имати по шти рублей на человеке, да их же бити кнутом по торгом, и сажати в тюрьму на месяц, и давати их на поруки з записми, что им впредь ни у кого корчемного питья не покупать и не пить. А которые люди от такова воровства не уймутся, и в таком воровстве объявятся въчетвертые: и им за такое их воровство учинити жестокое наказание, бив кнутом по торгом, съсылати в дальние города, где государь укажет, а животы их все и дворы и поместья и вотчины имати на государя” [3. С. 189].

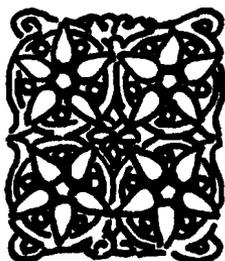
Другой чертой, также имеющей прямое сходство памятника с деловыми документами, является его построение: он разбит на статьи, каждая из которых определяет то или иное действие и регулирует правила сокольничьего “устава”. Окончание “Урядника” состоит из росписей государевым охотникам.

Таким образом, текст памятника представляет собой весьма оригинальный стилистический замысел, в основу которого положено профессиональное состязание, ремесло, изображенное в двух планах: **деловом** и **этикетном**. Второй по своим функциональным особенностям и терминологической системе приближен к приказным традициям, а по форме – к литературному фону древнерусской книжности.

На примере этого сочинения мы смогли убедиться в том, что деловая письменность может быть источником отдельных художественных текстов, основу которых составили языковые и текстовые форманты произведений утилитарной культуры. Очевиден и тот факт, что эволюция русского литературного языка в XVII веке охватывала не только книжные жанры, но и активно внедрялась в другую культурную языковую традицию. Деловая словесность стала той экспериментальной базой, на фоне которой проходили “испытания” новые приемы и способы выражения письменности.

Литература

1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1994.
2. Урядник сокольничьего пути // Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Книга вторая / Сост., общая ред. и примечания Л. Дмитриева, Д. Лихачева. М., 1989.
3. Соборное Уложение царя Алексея Михайловича 1649 года / Издание историко-филологического факультета Императорского Московского университета. М., 1907.



Ланкастерские школы в России

© С. В. ЛИТВИНОВ,
кандидат культурологии

В начале XIX века в мире широко распространилась ланкастерская система взаимного обучения. Во многих странах создавались такие школы. Свое название они получили по имени основателя Джозефа Ланкастера (Joseph Lancaster), английского педагога, который занимался бесплатным образованием бедных детей и разработал оригинальную систему обучения. Методику Ланкастер описал в своих книгах, вышедших в свет в 1805 и 1810 годах.

Она заключалась в том, что при взаимном обучении ученики распределялись по множеству маленьких классов, в каждом из которых назначался один из наиболее способных учеников, передававший классу все необходимые знания, ранее приобретенные им у своего учителя. Такие ученики назывались *мониторами*. Все обучение проводилось в определенные сроки и строгой последовательности. Существовала особая система наград и наказаний, способствовавшая поддержанию неукоснительной дисциплины. Количество предметов, преподаваемых таким образом, было невелико: чтение, письмо, арифметика и Закон Божий.

Россия стала одной из европейских стран, где ланкастерская система применялась довольно успешно. Интерес к учреждению в России школ по ланкастерскому методу возник в 1813 году, когда министерство внутренних дел познакомилось с этой идеей. Первая информация пришла в Россию от английских представителей Библейского общества.

В 1813 году ученый Иосиф Гамель был послан министерством внутренних дел за границу для усовершенствования своих знаний и собирания различных сведений для развития мануфактур. Когда он приехал в Лондон, то, прежде всего, познакомился с Уильямом Алленом, извест-

ным английским химиком. Позднее Аллен был представлен императору Александру I во время его визита в Англию в 1814 году. В 1818 году Аллен посетил Петербург и был удостоен не только аудиенции у императора, но и пользовался его благосклонностью. Именно Аллен показал И. Гамелю ланкастерскую школу и рассказал о своем желании познакомить Россию с ее методом обучения.

Эта школа поразила Гамеля. Она состояла из нескольких сот учеников, управляемых одним мальчиком. Дальнейшее знакомство с методами обучения убедило Гамеля в пользе данного способа и в тех выгодах, которые он мог бы принести России. Гамель сообщил об этом некоторые сведения министру внутренних дел, и тот велел поместить их в газете министерства, "Северной Почте". Оттуда частично информация перекочевала даже в иностранные журналы.

Позднее Гамель составил на немецком языке подробное описание ланкастерской системы, представленное министром внутренних дел на усмотрение императора. Александр I распорядился издать его отдельной книгой, причем немецкое издание должен был осуществить сам автор, а его русский перевод поручалось издать Министерству внутренних дел.

Немецкое издание вышло в Париже в 1818 году, а русский перевод появился через два года в Петербурге [1].

В то же самое время, когда Гамель изучал ланкастерские школы в Англии, Александр I поручил графу Каподистрии, находившемуся в Швейцарии с дипломатической миссией, познакомиться с другими школьными учреждениями, популярными в Европе, а именно со школами Фелленберга, знаменитого сподвижника Песталоцци.

Устройство ланкастерских школ заинтересовало не только правительство, но и русскую аристократию. Так, граф Румянцев пригласил из Англии Я. Герда для введения ланкастерских школ в своих поместьях. Его примеру последовали и другие вельможи.

В селе Андреевском, имени графа Воронцова, в июле 1820 года было открыто училище взаимного обучения для 89 мальчиков из крепостных графа. Учителем их был отставной капитан Граберх, который служил во Франции с 1815 по 1819 год под командованием графа Воронцова. Он поручил капитану обучать нижние воинские чины грамоте "по методу Ланкастеровой" [2].

20 марта 1822 года директор владимирских училищ доложил попечителю Московского учебного округа о том, что он посетил с инспекцией это училище и нашел, что:

1) порядок и способ учения производятся в нем по точной методе Ланкастера;

2) учащие и учащиеся относительно нравственности руководствуются начальными правилами христианства;

3) школа достаточно снабжена учебными пособиями по методе;

4) устроивший сию школу учитель капитан Граберх еще в январе 1822 года отозван Воронцовым в малороссийские деревни графа для устройства подобных школ, а преподавание в данной школе поручено священнику и при нем дворовому человеку, которые к обучению по данной методе “довольно способны” [3].

Директор тульских училищ С. Нечаев доложил попечителю Московского учебного округа А.П. Оболенскому о работе такого училища в Туле: “Необыкновенная охота, с какою дети занимаются учением по новой методе и быстрые по краткости времени успехи их в оном побуждают меня усерднейше просить Ваше Сиятельство о исходатайствовании от высшаго начальства благосклонного одобрения общепользным сим начинаниям. Осмеливаюсь присовокупить, что сколь ни ново здешнее заведение по Ланкастерову способу, устройство его однако до такой степени нравится всем вообще посетителям, что многие из них чиновники и помещики изъявили желание и обещание о размножении народных школ по образцу устроенной в Туле, а господин генерал-губернатор А.Д. Балашов при обозрении оной 9 июля почтил меня за успешное образование сего училища особенною своею благодарностию” [4].

На ланкастерские школы стали жертвоваться частными лицами значительные средства. Так, Тульское училище получило 5000 рублей. Среди жертвователей были: тульский гражданский губернатор В.Ф. Васильев (200 руб.), графиня А.В. Бобринская (2000 руб.), помещики, чиновники, полицейские, купцы, Тульское оружейное общество (500 руб.) [5].

Подобный опыт устройства ланкастерских школ предпринимался и частными лицами. Так, графиня Анна Владимировна Бобринская в городе Богородицке открыла училище на 50 человек, выделив при этом собственный дом и взяв на себя все издержки [6].

К апрелю 1821 года в Тульской губернии существовали три ланкастерские школы – в Туле, Ефремове и Богородицке. Ученики в них учились чтению, письму, первым правилам арифметики по книге Гамеля и руководству Греча, а также основам православия [7].

Правительство проявляло постоянный интерес к ланкастерским школам, а в 1816 году послало в Англию четырех студентов Педагогического института для изучения учебной системы в школах Ланкастера и Белля: Федора Буссе, Александра Ободовского, Карла Свенского, Федора Гимаева. Барону Штрандману, русскому дипломату в Лондоне, было поручено руководить русскими студентами, которые, посетив главнейшие школы Англии, отправились через Париж в Швейцарию для знакомства со школами Фелленберга и Песталоцци.

Основной причиной успеха ланкастерских школ была чрезвычайная простота и дешевизна их устройства. Необходимо было иметь только помещение и одного учителя, и школа могла принять несколько сотен

учеников, что было совершенно невозможно при других системах обучения. Ланкастерская же система имела важное значение там, где средства, выделяемые на образование, были скудными, и трудно было найти достаточное количество учителей. Это то, от чего всегда страдало российское образование. Гамель, осознав все преимущества ланкастерских школ для России, в своей книге пытался всячески доказать это, считая необходимым устройство школ по подобию уже существовавших в Лондоне и Париже.

По высочайшему повелению в Петербурге был учрежден комитет для введения взаимного обучения в школах, устроенных для солдатских детей. Главой этого комитета был назначен граф Сиверс, который приобрел подробные сведения о ланкастерских школах в Париже. В 1818 году в Петербурге уже существовал Педагогический институт для изучения учебной системы в школах Ланкастера и Белля.

В 1819 году 16 июня в Петербурге торжественно открылось “Общество учреждения училищ по методике взаимного обучения”. Его устав был высочайше утвержден императором, о чем было объявлено министром народного просвещения 14 января 1819 года. “Общество” было призвано заниматься следующими проблемами: сочинение и издание руководства для учреждения первоначальных школ, таблиц для обучения чтению, письму, арифметике и других учебных пособий; учреждением в Петербурге одного, а со временем, если позволят средства, и нескольких училищ по методике взаимного обучения. Также “Общество” должно было оказывать помощь всем желающим устроить подобные школы. Важно отметить, что обучение в этих школах и обеспечение учащихся учебными пособиями должно было осуществляться бесплатно.

Членами “Общества” были граф Ф.П. Толстой, Ф.Н. Глинка, Н.И. Греч, В.И. Григорович, Н.И. Кусов, П.Е. Доброхотов. В том же году “Общество” открыло в Петербурге училище для бедных мальчиков, несколько школ для бедняков, а также много школ в провинциальных городах: Перми, Вологде, Туле, Иркутске, Риге, Ревеле, Нижнем Новгороде, Астрахани, Киеве и др.

В марте 1821 года Н.И. Греч в собрании “Общества” сделал доклад, посвященный успехам ланкастерской системы обучения в разных странах мира. Поражает тот огромный ареал, в котором распространилась ланкастерская система – Западная Европа (Англия, Франция, Бельгия, Голландия, Швейцария, Германия, Италия, Испания, Португалия, Греция, Швеция, Норвегия), Северная и Южная Америка (США, Чили, Аргентина, Бразилия), Африка (Сенегал), Азия (Индия). Греч отметил, что везде в таких школах ученики показывали более быстрые и хорошие результаты в чтении, письме, арифметике, чем в обычных [8].

В октябре 1821 года было учреждено образцовое училище для девочек по системе взаимного обучения. Это училище находилось под руко-

водством С. Килеам. О нем много писали тогдашние журналы “Сын Отечества” и “Соревнователь просвещения и благотворения”, отмечая успехи училища в деле просвещения. Школа получила правительственную субсидию в 11620 руб. С небольшими промежутками она просуществовала до 1854 года, когда была преобразована в училище св. Елены.

Побуждение правительства устроить школы для просвещения народа вылилось в устройство ланкастерских школ и в армии. И. Гамель уже видел такие школы в русском корпусе, размещавшемся во Франции в 1815 году. Он писал, что во многих полках корпуса российских войск во Франции учреждены солдатские школы на основании взаимного обучения, к устройению которых особую деятельность прилагал господин Генри, изучивший устройство школ в Париже. Генри под руководством С.И. Тургенева приспособил французские ланкастерские таблицы для русского языка. Эти таблицы применялись в солдатских школах, в них были помещены катехизис для солдат, тактика Суворова, обязанности караульных.

Специально для солдатских школ был издан перевод с французского языка “Краткой методы взаимного обучения для первоначальной школы-российских солдат. Крепость Мобеж во Франции 1817 года”. В июне 1818 года великий князь Михаил Павлович осматривал такую школу в Мобеже, где обучалось триста русских солдат, и остался ею очень доволен, особенно когда узнал, что многие солдаты за три месяца научились читать и писать.

“Без сомнения, – писал Гамель, – соотечественники отдадут полную справедливость генералу графу Воронцову за учреждение в Российском войске столь полезных школ” [9]. По его словам, школа в Мобеже была наилучшей из всех, которые он видел, а видел он их очень много. В гвардейских полках многие офицеры занимались обучением солдат, а после войн с Наполеоном и громкого триумфа русской армии в Европе стало изменяться отношение к солдатам. Со стороны офицеров – суровая дисциплина, нередко перераставшая в издевательства над солдатами, смягчалась, телесные наказания становились реже, наиболее просвещенные полковые командиры совсем прекращали их.

В начале двадцатых годов в связи с общими изменениями в политике правительства наступил тяжелый период и для ланкастерских школ. Их стали воспринимать как рассадник вольнодумства.

Хотя в России ланкастерские школы не имели того значения, что во Франции, судьба их была незавидной. Император Александр I, который сначала очень заинтересовался этой идеей, позже, наслушавшись обвинений против ланкастерских школ, так же стал полагать, что они служат источником вольнодумства. Когда произошли известные волнения в Семеновском полку, Александр и его приближенные были уверены, что “тут было внушение чуждое, но не военное”, при-

писывали эти волнения действию тайных обществ и влиянию ланкастерских школ [10].

В царствование Николая I ланкастерские школы также открывались, но уже не с такой интенсивностью, как при Александре I.

Литература

1. *Гамель И.* Описание способа взаимного обучения по способам Белля, Ланкастера и др. СПб., 1820.
 2. ЦИАМ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 1718.
 3. ЦИАМ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 1952.
 4. ЦИАМ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 1718.
 5. ЦИАМ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 1718.
 6. ЦИАМ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 1718.
 7. ЦИАМ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 1718.
 8. ОР РНБ, ф. 218, ед. хр. 5.
 9. Сын Отечества. 1823. Ч. 84. С. 97.
 10. *Пытин А.Н.* Общественное движение в России при Александре I. Пг., 1918. С. 247.
-
-



Русское историческое и языковое пространство в драме Ф. Шиллера “Деметриус”

© Р. А. КОМАРОВА,
кандидат филологических наук

Свои последние четырнадцать месяцев жизни Ф. Шиллер посвятил интенсивной работе над драматическим произведением из русской истории, которое назвал “Деметриус или кровавая свадьба в Москве”: “Решился на Деметриуса (mich zum Demetrius entschlossen)”, – записал он 10 марта 1804 года.

Для написания пьесы внешним поводом послужила помолвка наследного принца Веймарского с великой княжной Марией Павловной. Видимо, Шиллера давно привлекала русская тема, раз он написал “решился”. Смутные годы правления Бориса Годунова, ожесточенная борьба за русский престол, тоска народа по убиенному царевичу Димитрию, сыну Ивана Грозного от последнего брака, появление многочисленных Лжедмитриев будило творческое воображение драматурга.

Не только Шиллера волновал этот период в русской истории. К нему обращались и другие немецкие писатели: Ф. Геббель, П. Эрнст. Но им не удалось создать яркое и сильное художественное произведение, каким был шиллеровский “Деметриус”. Многообещающее начало и, к

сожалению, незавершенность этого произведения (9 мая 1805 года Шиллера не стало) возбуждали творческий интерес и стимулировали последующие обращения к этому сюжету со стороны немецких писателей. Ф. Шиллер своим “Деметриусом” ввел русскую тему в немецкую литературу. До самых последних дней он постоянно говорил на эту тему и, по свидетельству близких ему людей, декламировал сцены из “Деметриуса” [“rezitierte Szenen aus dem Demetrius” 1. С. 42].

Шиллер успел написать полностью только первый акт и три сцены второго акта. Содержание написанных сцен заслуживает того, чтобы на нем остановиться. Польский воевода Мнишек под натиском честолюбивых настояний своей младшей дочери Марины, захотевшей стать русской царицей, представляет польскому сейму и королю Сигизмунду случайно обнаруженного истинного наследника русского престола царевича Димитрия, скрывавшегося под именем Филарета, якобы, беглого монаха, спасенного дьяком Андреем. Царевич Димитрий скрывался в монастыре под именем Филарет (от греч. “любящий добродетель”). Через шестнадцать лет он покинул монастырь и оказался в Польше. Там он служил у воеводы Мнишека. При драматических обстоятельствах (за убийство знатного поляка, жениха Марины, был приговорен к казни) внимание окружающих привлекли его личные вещи: нательный золотой крест с девятью изумрудами и псалтырь, где на древнегреческом было написано, что брат Филарет, владелец этой книги, является наследным царевичем Димитрием, младшим сыном царя Ивана. Воевода Мнишек убеждает польский сейм и короля Сигизмунда собрать войско, чтобы силой оружия свергнуть Годунова и посадить на царство Димитрия, уже обрученного с дочерью воеводы Мариной.

В план воеводы входило еще “узнавание” Димитрия его матерью, заключенной в далекий северный монастырь под именем Марфа. Признательное свидетельство матери должно было бы убедить народ и принести поддержку снизу. Польский король Сигизмунд скептически отнесся к плану воеводы захватить русский престол с помощью оружия. “Ни один трон не создается чужим оружием” (Здесь и далее цитируем в нашем переводе. – *Р.К.*), – заявил он. А вот использование матери, ее силы и авторитета в своих целях считал дельной идеей, так как был убежден, что “Россию можно одолеть только Россией”. Россия, считал польский король, это другой мир и объяснял новоявленному претенденту на русский престол уклад ее жизни: “Там царит священная власть отца. Раб служит страдающим послушанием. Барин правит, ни перед кем не отчитываясь”. Поверивший в свое царское происхождение Филарет с воодушевлением уверяет польского короля: “Я буду насаждать прекрасную свободу. Я сделаю из рабов людей. Я не хочу царствовать над рабами”. Однако это как раз не входит в планы его польских покровителей: “Не торопись с этим”, – отвечает ему король. Главное для беглого монаха, объявленного царевичем, взойти на рус-

ский престол и удержаться на нем. А для этого нужно завоевать Россию, ее народ на эмоциональном уровне: “Твоя лучшая защита – сердце твоего народа”. Предпосылки для этого уже есть: народ упорно не желавший верить в смерть царевича Дмитрия, эмоционально готов принять самозванца.

Во втором акте Шиллер нарисовал картину раскола в русском обществе. Известие о том, что объявился царевич Дмитрий, чудом спасенный, вызывает у населения смятение чувств. С одной стороны, слышатся возгласы явно обрадованные, но растерянные: “Как можем мы отказать в верности сыну нашего великого царя и не пустить в страну?”, а с другой – раздаются голоса законопослушной части населения: “Но ведь мы присягали Борису Годунову как нашему царю и ему клялись в верности”. На этом конфликте чувства и долга текст обрывается. Тем не менее вызывает восторг сила мысли и яркость языка Ф. Шиллера, с которой он описывал, например, просторы России: “Беспредельно вытянута она навстречу утреннему солнцу, безгранична на Севере, как живая созидающая сила земли”.

Россия предстает в драме не только русскими персонажами, но и русской лексикой. Русский языковой материал дает возможность придать достоверный колорит написанному или, говоря словами Шиллера, “внести правду и жизнь” в литературный текст. Это, прежде всего, русские социальные термины: *Bojaren, Knäs, Kosak, Posadnik, Zar, Zariza, Zarowitsch*; слова из обихода русской православной церкви – *Archijerei, Diak, Igumen, Rostriga*, а также слова, образующие реалии русской жизни и истории – *Sastafa, Kremel, Waräger, Zobel, Moskowiten*. Русские слова органично входят в текст драмы, естественно вплетаются в немецкую речь, благодаря чему русская тема начинает развиваться уже на уровне языкового выражения: “In diesem Psalter standen griechische Worte, vom *Igumen* mit eigner Hand hinein geschrieben” (В этой псалтыри стояли греческие слова, написанные рукой самого игумена); “Hier stürzten *die Bojaren* mir zu Füßen, besiegt von dieser Zeugnisse Gewalt” (Тут бросились бояре к моим ногам, побежденные силой этих доказательств); “Ein frecher *Trugner*, ein *Renegat* und *Rostriga* mißbraucht den edlen Namen eines Sohnes” (Наглый обманщик и расстрига преступно пользуется благородным именем твоего сына); “*Der Archijerei* von den Pforten” (Архиперей стоит у врат); “*Zar Boris* zitterte auf seinem Thron und stellte seine *Sastafs* an die Grenzen” (Царь Борис дрожал на своем троне и поставил свои заставы на границах).

На фоне немецкого языкового окружения русские слова у Шиллера фонетически и содержательно выделяются и, таким образом, актуализируются. Они привлекают внимание, возбуждают интерес и приобщают читателя к русскому языковому и культурному миру.

Очень важную роль в создании русского колорита играют у Шиллера собственные имена: географические обозначения и личные имена

русских персонажей. В тексте драмы много топонимов: названия городов – *Archangel(sk)*, *Kiew*, *Moskau*, *Nowgorod*, *Smolensk*, *Tschernigow*; рек – *Don*, *Dniepr*, *Desna*; монастырей – *Belosero*, *Tschudow*. Некоторые русские города упоминаются в тех формах, которые были в ходу в тот период, когда происходило действие пьесы, например *Pleskow* – Псков. Другие подвергаются переводу, так в “немецком обличии” появляется Великий Новгород – *Großneugrad*, название другого Новгорода (Северского) транслитерируется – *Sewerisch Nowgorod*. Перевод позволил Шиллеру не только дифференцировать эти города (это можно было сделать, сохранив русские различители на уровне транслитерации), но и выделить их, подчеркнув внутренней формой роль и значение Великого Новгорода в русской культуре. Ф. Шиллер старался наполнить топоним социально-исторической, бытовой и другой информацией: “*Moskau ist reich an Gütern, unermesslich an Gold und Edelsteinen ist der Schatz des Zars*” (Москва изобилует богатством, несметны сокровища царя золотом и драгоценными камнями); “*Kiew – dort herrschten der Warägen alte Fürsten*” (Киев – там царствовали старые князья из варягов); “*Dort kann ich die Welle des Dniepers sehen, die aus Smolensko fließen*” (Там я могу видеть волны Днепра, которые текут из Смоленска).

Самым частотным топонимом в тексте Шиллера является *Moskau*. На сорока страницах недописанной драмы *Moskau* употребляется тридцать раз. Словесные окружения, контексты в которые Шиллер помещает это слово, существенно изменяют и обогащают его содержательную структуру. Из единицы с назывной функцией, обозначающей точку в пространстве, из слова, лишённого понятийного содержания, название русской столицы превращается в насыщенную интеллектуальным и экспрессивным содержанием языковую единицу. У Шиллера *Moskau* соседствует с такими словами, как *groß* (великий), *Thron* (трон), *Majestät* (величие), *güterreich* (материально богатый), *Zar*, *Zarin*, *Prinz*, *gläubig* (верующий), *Blüthochzeit* (кровавая свадьба), *Krone* (корона), *Krieg* (война), *Wappen* (герб), *Frieden* (мир), *geschwächt* (ослабленный) и др. Эти слова формируют вокруг себя обширное эмоционально-знаковое пространство и помогают создать образ города, политического центра, величественного и противоречивого.

Не менее значимы и личные имена русских персонажей. Среди них встречаются и исторические личности описываемой эпохи: *Zar Boris Godunow*, *Knäz Mstislawski*, *Zar Jwan Wasilewitsch*, *Zar Feodor (Födor)*. Их присутствие в драме способствует созданию достоверности, придает исторический колорит, благодаря им возникает эффект реальности происходящего. Имена вымышленных персонажей, так называемых литературных фигур, скорее всего, почерпнуты Шиллером из исторических

трудов, которые он изучил прежде: *Oleg, Igor, Gleb, Olga, Xenia, Alexia, Marfa*.

Русское общество представлено в драме обитателями монастырей и простым народом. В народных сценах жители русских деревень названы именами, которые в то время были употребительны среди простого люда – *Timoske, Petruske, Iwanske* (уменьшительные формы от имен *Тимофей, Петр, Иван*). Фонетический облик этих имен у Шиллера не совсем соответствует их звучанию в русском языке, например *Iwanske* (*Ивашка*), но в целом Шиллер верно уловил и использовал социальную и эмоционально-оценочную коннотацию уменьшительных русских имен с суффиксом *-к-*, имевших пренебрежительно-уничтожительную окраску. Такие имена бытовали на Руси и свидетельствовали об отношении господ к своему народу, о забитости последнего. Это не единственный случай у Шиллера, когда личные имена выступают не только как средство идентификации персонажей, но и как определенное понятие.

В полной мере это касается титульного имени *Деметриус* (*Demetrius*). Латинизированная форма *Деметриус*, не принятая в русском именнике, полна смысла и внутренней интриги. Шиллер не пишет *Лжедмитрий* (*der falsche Dmitri*), не навязывает идею самозванства через “лобовую” характеристику, которая имела бы место в случае *Лжедмитрий*. Он делает это тоньше, называет претендента на русский престол чуждым для русской культуры именем, создает напряжение, пространство для игры воображения и авторского намека.

В авторской речи Шиллер употребляет только форму *Деметриус*, раскрывая таким образом свой взгляд на персонаж: это не настоящий русский царевич, это иноземец. Русские формы *Dmitri, Dimitri, Dmitri Iwanowitsch* используются в тексте: они встречаются в речи персонажей и употребляются в контекстах, где лжецаревич выдается за настоящего царевича или принимается за него. Эти формы нужны автору как средство легализации самозванца, как квант идентичности, например: “*Prinz Dmitri lebt!*” (Принц Дмитрий жив!). В стилистически завышенных контекстах Шиллер пользуется канонической формой *Dimitri* с отчеством или без него, например “*Es lebe der Zar, der große Fürst Dimitri*” (Да здравствует царь, великий князь Димитрий): “*Wir, Dimitri Iwanowitsch, von Gottes Gnaden Zarowitsch von ganz Rußland...*” (Мы, Димитрий Иванович, Божьей милостью царевич всея Руси...).

Как и в русском реальном употреблении, форма *Dimitri* выступает в драме Шиллера как имя высокого регистра, оно не только вносит в текст правдоподобие, но и обогащает его, поскольку придает драматическим сценам дополнительную эмоциональную окрашенность.

Наблюдения над использованием русского языкового материала в неоконченной драме “Деметриус” позволяют сделать вывод, что Ф. Шиллер был на пути создания еще одного выдающегося произведения, отличительной чертой которого был языковой реализм.

Литература

1. *Schiller F. Demetrius oder die Bluthochzeit zu Moskau // Schillers Werke in fünf Bänden. Weimar, 1962.*
2. *Fambach. Schiller und sein Kreis (Lit. Kritik der Zeit. Stgt, 1957).*

Саратов





Толковый словарь российских фамилий

© В. О. МАКСИМОВ,
директор Исследовательского центра
“История фамилии”

Агентов. Фамилия *Агентов* отмечена в книге “Фамильные прозвища великорусского духовенства” В.В. Шереметевским в числе “семинарских”, то есть присвоенных ученикам духовных училищ. В ее основе лежит латинское слово *agens* – “деятельный”. Вероятно, в качестве признания деловых качеств ученика. Но бытовала она и в миру. Само слово *агент* пришло в русский язык из немецкого уже в XVI веке. Первоначально так называли представителей иностранных государств. “Пожаловали есмь аглинские земли купцов... агента с товарищи, освободили есмь им ходити в свое государство в Двинскую землю со всякими товары” – сообщается в государевой грамоте 1584 года. Позднее *агентами* стали называть вообще всех торговых представителей (не имеющих дипломатического статуса), а к XVIII веку в русских документах уже широко используется слово *агент* в значении “представитель торгового общества, компании”, “торговый посредник” и “лицо, выполняющее деловые поручения какого-либо частного лица” (в русском языке ему соответствовали исконные названия *стряпчий* и *приказчик*). Неудивительно, что упоминаемый в московской грамоте 1744 года *Василий Ильин сын Агентов* именуется “аптекарем купчиной”.

Беспятов. *Беспят, Беспятый, Беспятой* – хромой человек. Но прозвище это могло выражать и более “сильные” чувства: в «Словаре русских народных говоров» оно дается с пометой “бранное”. В старину говорили: *Анчутка ты беспятый (анчутка – “черт”, т.е. это выражение равнозначно привычному нам черт хромой)*. В древних грамотах упоминаются: *Андрей Беспятый*, крестьянин в Переяславском уезде (1547 г.); *Роман Алексеев сын Беспятый*, сын боярский (1570 г.). Нередки и упоминания семейного прозвания *Беспятов*: *Захарий Беспятов*, помещик в Новгороде (конец XV в.); *Игнатий Беспятов*, помещик в Юрьевском уезде (1596 г.).

Бодаков. *Бодак* – народное название чертополоха, бытовавшее в белорусско-украинских и некоторых русских говорах (другие варианты –

бодяк, будяк) и обычное мирское имя. Но *Бодаком*, то есть “колючкой”, могли прозвать, например, сердитого, вспылчивого, язвительно-го человека и т.п. В 1649 году в “Реестре Войска Запорожского” упоминаются: *Иван Бодак*, казак Белоцерковского полка и *Андрей Бодак*, казак Киевского полка. А в Писцовых книгах 1551 года записан новгородский подьячий *Олеша Бодаков*.

Взятъшев. *Взятъши* означает буквально “приемный сын”, “приемыш”. Разумеется, прозвище *Взятъши* действительно могли дать приемному сыну. Но имя *Взятъши* могло быть дано и в качестве оберега: с такой же целью порой давались и другие, более популярные имена *Найден* и *Ненаш*. Слово *взятъши* еще в XIX веке бытовало в псковских, костромских, владимирских и амурских говорах.

Каплаухов, Каплаух, Каплоух, Каплоухий. В белорусско-украинских, псковских, тверских, брянских говорах, на Кубани и на Урале *Каплоух, Каплух, Каплоухий* – прозвище обладателя больших ушей, а также простодушного, бесхитростного человека. В 1649 году в “Реестре Войска Запорожского” записан *Яцко Каплоухий*, казак Белоцерковского полка.

Коловершев. *Коловершами* и *коловёршами* в некоторых русских говорах (например, в тамбовских, саратовских, самарских) называли фантастических существ, живущих под печкой или полом в домах тех людей, которые, по мнению наших предков, обладали даром колдовства. В народных суевериях *коловерш*, *коловерша*, *коловёрш* – это еще и оборотень, который превращается в кошку, а также некий дух, покровительствующий хозяину дома. Вероятно, во времена, когда еще были популярными имена-обереги, называя ребенка *Коловершем* или *Коловершей*, родители надеялись защитить его от нечистой силы. Однако существовало и обычное личное прозвище *Коловёрша*, имевшее два значения: “непоседа, егоза”, а также “расторопный, проворный человек”.

Нетягов, Нетягин, Нетяга, Нетяго. *Нетягой* в украинских и западнорусских говорах в прошлом называли бедняка, безземельного человека. “Нетяго, нетяго, нетяженько моя! Де заслужчина твоя?” – пелось в старинной украинской песне-думе. В другой народной песне казак-нетяга описывался таким образом: “на козаку, бідному нетязі, шапка-бирка – зверху дірка... вона дощем покрита, а вітром на славу козацьку підбита”. Во времена Богдана Хмельницкого (1649 г.) в “Реестре Войска Запорожского” упоминается *Юско Нетяга*, казак Корсуньского полка. Вообще же, обобщающий образ казака по имени-прозвищу *Нетяга* был одним из любимых героев малоросского эпоса.

Семиколенных, Семиколенов, Семиколеннов. *Семиколеном, семиколенкой, семиколенником, семиколенницей, семиколенишником* и т.п.

на Руси в старину называли различные виды трав: рдест блестящий, герань луговую, хвощ полевой и другие (особенность этих растений – длинный ствол, состоящий из ярко выраженных частей-колен; слово *семь* в прошлом обычно употреблялось в значении “много”). Не исключено, что *Семиколен* или *Семиколенка* – обычные мирские имена. В середине XX века в уральских землях существовала любопытная традиция. Если кто-либо не хотел называть свою настоящую фамилию, то мог в шутку ответить – *Семиколенкин*, т.е. буквально “бесфамильный”, “безродный”. Это связано с тем, что все семиколенки, семиколенницы являлись сорными травами (о некоторых растениях с подобными названиями сохранились лишь упоминания, например, о том, что “у них цветы голубые” – т.е. без указания на то, какой именно вид так назывался). Вполне возможно, что подобные прозвания бытовали в русском языке и в более древние времена (многие переселенцы вообще были вынуждены скрывать свое происхождение, “прикрываясь” прозваниями-отговорками *Непомнящий*, *Бесфамильный* и т.п.). Вероятно, и прозвища *Семиколен* или *Семиколенный* имели такие же значения. Кроме того, *Семиколенным* называли непонятливого, чудаковатого мужчину.

В грамоте 1684 года упоминается *Федка Семиколен*, житель села Доброе Липецкого уезда. Там, где фамилии образовывались при помощи суффиксов *-ых/-их* (т.е. “чьих будешь?”), возникла фамилия *Семиколенных*.

Тиганов. *Тиганом* в старину на Руси называли сковороду. Это слово заимствовано из греческого языка и имеет то же происхождение, что и слово *тигель*. Существовало и мирское имя *Тиган*. Например, в грамоте 1651 года упоминается *Лазорь Тиганов*, орлянин. А в соседней Брянской области и ныне существует деревня *Тиганово*.

Требунских, Требунский. Липецкая фамилия *Требунских*, по мнению их носителей, имеет сибирские корни. Причиной такой уверенности служит распространенное мнение, что подобные фамилии – исключительно сибирские. Но это далеко не так. Вероятнее всего, малая родина *Требунских* – село Требушки Данковского района Липецкой же области (ранее Данковский уезд Рязанской губернии). А в Списках населенных мест Рязанской губернии 1862 года селение Требушки упоминается еще и в Рязском уезде. Вообще, существует немало фамилий, с этим “сибирским” окончанием, образованных, тем не менее, от названий южных селений Московской Руси.

Желающие задать вопрос или предложить свои дополнения к материалам, опубликованным в этом разделе, могут воспользоваться электронной почтой: dialog@familii.ru (письма отправлять с пометкой “Толковый словарь российских фамилий”) или посетить сайт Исследовательского Центра “История фамилии”: www.familii.ru.

К 40-летию журнала



Тур и “Туров город”: от мифологии к истории

© А. Ф. РОГАЛЕВ,
доктор филологических наук

У всех носителей фамилий *Тур*, *Турок*, *Туров*, *Турков* был далекий предок, имевший языческое имя *Тур*, встречавшееся еще в XVI–XVII веках. Оно символизировало силу, мощь, здоровье, а в более древние времена – еще магию и власть. Его носитель становился под защиту и покровительство дикого быка-тура, который обитал в древности в лесостепи, в глухих лесах, болотистых полевских просторах.

До принятия христианства охота на тура была под строгим запретом. Этот дикий бык считался священным животным. Культ тура сложился на тотемической основе. Древние охотничьи общины, обитавшие в окрестностях нынешнего Турова, видели в свирепом быке-туре

воплощение божественного предка, душа которого приняла зооморфный образ. Тур был тотемом определенных групп людей, которые считали себя потомками прародителя в облике тура. Один рев животного приводил их в ужас, ибо воспринимался как голос быковидного божества.

Имя *Тур* мог носить обоженный прародитель, а также наиболее умелый и отважный охотник каждого из живущих поколений, способный в одиночку выдержат поединок с туром. Впоследствии, когда охотничье хозяйство уступило место скотоводству и земледелию, имя *Тур* как именование прародителя носили жрецы и вожди. Они почитались как земные представители божества. Часто жрецом, магом и вождем было одно и то же лицо, сосредоточивавшее в своих руках необъятную власть. Вокруг вождя-мага складывалась группа приближенных – избранников божества, прошедших специальный обряд посвящения. Эта правящая элита во главе с вождем и жрецом Туром регулировала всю жизнь племени.

Наименования божеств менялись, а имя *Тур* по-прежнему использовалось. Со временем оно утратило сакральную функцию и стало даваться не только языческим жрецам, но и как прозвище любому отважному и сильному человеку. *Туром* могли назвать и новорожденного младенца, подчеркивая тем самым желание родителей видеть своего сына в будущем подобным почитаемому животному.

Бык-тур считался священным животным до тех пор, пока не угасли языческие верования и не победило христианство. Но даже и тогда этот зверь продолжал оставаться символом – на этот раз новых святых, в частности, пророка Ильи (христианского аналога Перуна). В Ильин (Перунов) день закалывали тура или просто домашнего быка. Это был отголосок древнего жертвоприношения. Кстати, еще первобытные охотники, считавшие тура своим тотемом, совершали ритуальную охоту на него в строго отведенные дни. Мясо жертвенного животного подалось, а голова и особенно рога – ритоны – использовались как атрибуты божества в обрядах и ритуалах. Турий рог, например, имел значение священного сосуда. Из него пили древний славянский ритуальный напиток – мед, умножавший здоровье, силу и способность к продолжению рода [1. С. 82–103].

В русских былинах и белорусских сказаниях тур выступает как вещь животное, как сияющий зверь с золотыми рогами. Это черты древнего быковидного божества, соединявшего два параллельных мира – мир живых и мир мертвых. До сих пор в разных местностях Белоруссии, и особенно в Полесье, сохраняются *Турьи горы* – места поклонения божественномутуру. Да и само название древнего города *Турова*, скорее всего, связано с культом тура, бывшего некогда земным воплощением обоженного предка. Впрочем, название бывшей столицы Туровского княжества можно объяснить также с учетом летописных сообщений, преданий и определенных исторических соображений.

Предания связывают возникновение Турова с князем Туром, вероятным сподвижником полоцкого правителя Рогволода. Интересный факт, в частности, содержится в книге М. Гаусмана, изданной еще в 1877 году. Автор сообщает о записи в Полоцком крае в 70-е годы XIX века легендарного сюжета, в соответствии с которым полоцкий князь Рогволod направился на юг по течению Днепра, а когда дошел до устья Припяти, выслал вверх по течению этой реки часть своей дружины во главе с Туром. Последний выбрал подходящее место и основал город Туров [2. С. 2–3].

Этот населенный пункт, недавний городской поселок Житковичского района, ныне город, а в прошлом – столица Туровского княжества, в которой возникла одна из первых на Руси епископий по греческому образцу, впервые упоминается в “Повести временных лет” под 980 годом. Примечательно, что и в летописи речь идет о правителе Туре, названном наряду с князем Рогволодом: “Бе бо Рогволod пришел из заморья, имяше власть свою в Полоцке, а Туры – в Турове...». Означает ли это, что легендарного Тура следует считать реальным историческим лицом?

Положительный ответ на поставленный вопрос как будто подтверждается косвенно уже самим названием города: *Туров* – “поселение, построенное Туром или принадлежащее Туру”. Если нет сомнений в реальности полоцкого правителя Рогволода, то почему мы должны сомневаться в действительном существовании в прошлом упомянутого в летописи Тура?

Тур, как и Рогволod, был “заморским” князем или воеводой. Не исключено, что его родословная могла быть связана с княжескими династиями поморских славян, живших на островах и на южном побережье Балтийского (Варяжского) моря. Личное имя *Тур*, образованное, как мы уже знаем, от названия дикого быка (латинское название тура, кстати, – *bos primigenus capra caucasica*), было одним из распространенных дохристианских древнерусских и древнеславянских имен и вполне могло символизировать, кроме всего прочего, также могущество и власть. Правда, нельзя исключать и того, что князь Тур был варяжским викингом и первоначально носил скандинавское имя *Tor*, связанное с обозначением бога-громовержца и созвучное исконно славянскому имени *Тур*. В земле дреговичей, однако, имя заморского князя-викинга должно было неизбежно ославяниться и пониматься в связи с наименованием быка-тура и всеми теми ассоциациями, которые это наименование вызывало.

Тур, как мы отметили, являлся культовым животным у многих древних народов, в том числе и у славян. Добавим к сказанному, что в славянском мифологическом сознании в образе быка олицетворялась нередко вода. До сих пор в некоторых местностях бытуют поверья о духах-демонах в виде быка (тура, зубра), охраняющих воду. Вероятно, отсюда – многочисленные названия рек, ручьев, озер и родников на

нашей территории типа *Бык, Бычок, Бычанка, Быков, Быковка, Быковец, Бычье*, а также *Турья, Турия, Турейка, Туренка, Зубр, Зубар, Зуберь* и т.п.

Поселения, возникавшие, например, на речке Турия, получали названия *Турск* или *Турийск, Турейск*. В Белоруссии возле деревни Турейск Щучинского района Гродненской области расположено городище древнего Турийска (Турска), упомянутого в Ипатьевской летописи под 1253 годом.

В мифах народов мира бык мог отождествляться с “Мировой горой”, центром Мироздания, поэтому нередко та или иная возвышенность воспринималась как “Турья гора”, на которой возводились святилища, жертвенники, где приносились в жертву быки, осуществлялось ритуальное поедание бычьего мяса, устраивались игры с головой быка, символизировавшей божественный разум, производились манипуляции с бычьими рогами, осмыслявшимися как символ рождающей силы.

На “Турьих горках” нередко строились укрепленные поселения, городища, замки со сторожевыми башнями. В Житковичском районе Гомельской области Белоруссии, в окрестностях древнего Турова, нами записано слово *тур* в значении “центральная часть населенного пункта”. *Туром* прежде называли опорный столб посередине комнаты жилого дома и столб при печи в курных избах, межевую насыпь, курган, холм. Деревне, возникшей на высоком, возвышенном месте, могли также дать название *Турок, Турная, Турово, Турин...* Аналогичные названия появлялись и в тех случаях, если в самом населенном пункте или в его окрестностях имелись следы каких-то укреплений.

Подводя итог сказанному, попробуем гипотетически воссоздать не отмеченные в летописи подробности. Заморский князь-воевода Тор (Тур) мог занять в ходе южной (полесской) военной экспедиции полоцкого властителя Рогволода некое укрепленное поселение на возвышенности у берега Припяти под вероятным названием Тур-гора, издревле являвшейся сакральным объектом. Вскоре возвышенное место над Припятью (предполагаемая нами Тур-гора), ставшее центром владений прибывшего князя-воеводы, неизбежно было переосмыслено как город Тора или Тура, то есть Туров город.

Литература

1. *Линец Р.С.* Образ древнего тура и отголоски его культа в былинах // Славянский фольклор. М., 1972.
2. *Гаусман М.* Исторический очерк местечка Турова, прежней столицы удельного Туровского княжества. Минск, 1877.



Топонимика

ПОКЛОННАЯ ГОРА

© А. Л. ШИЛОВ

Современные читатели знают Поклонную гору в Москве – в конце Кутузовского проспекта (бывшая Смоленская дорога). Но даже немногие москвичи, а жители иных местностей тем более, знают, что Поклонных гор в Москве было несколько. Равным образом, москвичи, как правило, не имеют понятия о том, что и в других местностях существуют Поклонные горы. Между тем в русских пределах их немало.

Е.М. Поспелов отметил, что онимическое словосочетание *Поклонная гора* имеет устойчивый терминологический характер [1. С. 92]. Такого же мнения придерживался и Э.М. Мурзаев, который термин *поклонная гора* ввел в свой знаменитый “Словарь народных географических терминов”, истолковав его как и Г.П. Смолицкая [2. С. 134].

Далее мы приведем перечень тех Поклонных гор, о которых нам удалось найти сведения в различных источниках (список этот, конечно, не может претендовать на исчерпывающую полноту).

Начнем, все же, с московских Поклонных гор. В своих наблюдениях о рельефе старой Москвы историк И.Е. Забелин писал: «В сущности же, в общем очертании Москва большею частью занимает ровную местность, что замечали и иностранные путешественники еще в XVI ст. В ее черте нет даже таких перевалов, какие находятся, напр., в ее ближайших окрестностях под именем “Поклонных гор”» [3. С. 53]. Эта характеристика (перевалы) оказалась, как мы увидим, очень удачной.

Поклонная гора (№ 1) при Смоленской (Можайской) дороге. Ныне горы здесь нет, а на ее месте располагается Мемориал Победы. Она наиболее известна в истории и отражена в художественной литературе. Здесь было встречено посольство крымского хана Менгли-Гирея (1508 г.): “И стрел их Федор за Москвою рекою на Поклонной горе”. В 1612 году у Поклонной горы был стан гетмана Жолкевского, куда прибыла из Москвы делегация, после переговоров с гетманом решившая предложить царский престол польскому королевичу Владиславу. Наибольшую же известность Поклонная гора приобрела благодаря ожиданию здесь Наполеоном делегации с ключами от Москвы. Эта сцена обычно описывается по тексту романа Л.Н. Толстого “Война и мир”. Наверное, более уместно привлечь свидетельства очевидцев (цитируем по [4. С. 39]). По воспоминаниям Цезаря Ложье, офицера корпуса Мюрата:

“...кто-то из разведчиков, прикрывающих сбоку колонны, указал на один холм... последний! *Новый мир*, – так буквально говорят они, – открылся им. Прекрасная столица под лучами яркого солнца горела тысячами цветов: группы золоченых куполов, высокие колокольни, невиданные памятники”. Наполеон со свитой поднялся на Поклонную гору. «Он остановился в восторге, – вспоминал граф де Сегюр. – Его первое восклицание было: “Так вот он, наконец, этот знаменитый город!” и затем он прибавил: “Давно пора!”. Он долго стоял здесь, день приближался к вечеру, Наполеон все ждал делегации “бояр” с ключами от города, но Москва “оставалась мрачной, безмолвной и как бы безжизненной”».

Поклонная гора (№ 2) близ села Напрудного у Троицкой (Ярославской) дороги. Здесь Иван IV устроил Переяславскую ямскую слободу.

Поклонная гора (№ 3) на окраине Лосинога острова (там, где церковь Адриана и Натальи; Ярославское шоссе, 95) у той же Троицкой дороги. С нее открывался вид на церковь Воскресения Словущего села Ростокина в 3 верстах южнее.

Поклонная Гора (№ 4) – у деревни по Серпуховской (Тульской) дороге (известна с 1704 г.). Позднее называлась *Верхние Котлы*.

Поклонные горы (№ 5, 6) по Калужской и Волоколамской дорогам указаны (наряду с таковыми по Тульской и Смоленской дорогам) в “Списке населенных мест Московской губернии” [5]. Их точное расположение пока не определено, хотя первую из них можно приблизительно локализовать на северном краю Теплостанской возвышенности – самого высокого места Москвы.

Поклонная гора (№ 7) близ бывшего Николо-Угрешского монастыря у поселка Лыткарино.

Поклонная гора (№ 8) к северу от Можайска (между пос. Тетерино и Ильинская Слобода).

Поклонная гора (№ 9) на Троицкой (Ярославской) дороге к югу от Сергиева Посада, описанная, в частности, И. С. Шмелевым в романе “Богомолье”. С нее открывался вид на Троице-Сергиеву лавру.

Поклонная гора (№ 10) близ Суздаля (при подъезде со стороны Владимира).

Поклонная гора (№ 11) – небольшая песчаная горка близ села Коломно Вышневолоцкого р-на Тверской области.

Поклонная гора (№ 12) у деревни Максимовицы Ростовского р-на Ярославской области.

Поклонная гора (№ 13) в Санкт-Петербурге, близ Выборгского шоссе.

Поклонная гора (№ 14) к востоку от Пскова (ныне в черте города).

Поклонная гора (№ 15, 16) – возвышенности близ деревни Вогнема и Благовещенье Кирилловского р-на Вологодской области.

Поклонная Гора (№ 17) в Галичском р-не Костромской области.

Поклон-Гора (Поклонница) (№ 18) близ деревни Юрино Белозерского р-на Вологодской области.

Поклонница (№ 19) – возвышенность в Бабаевском р-не Вологодской области.

Поклонный Бор (№ 20) – гора близ села Данилово Холмогорского р-на Архангельской области.

Поклонная гора (№ 21) в Верхне-Тоемском р-не Архангельской области.

По поводу происхождения многих из указанных названий высказывались самые разные мнения. Порой для одного и того же объекта приводилось по три–четыре варианта объяснения. Все имеющиеся версии можно условно разделить на пять основных групп.

Версия I – экзотическая. Некоторые краеведы пытались связать название Поклонной горы близ подмосковного Лыткарина (№ 7) с балтийским термином *паклоне* “пространство вокруг лужи” [6. С. 98]. Но как гора может находиться вокруг лужи? Уточним, кстати, что литовское *paklonė* означает “пространство вокруг долины”, а “пространство вокруг лужи” – *paklanė*. Если уж говорить о возможных балтских источниках названий возвышенных мест, то стоило бы привлечь литовское, латышское *pakalne* “подножие горы; склон горы; небольшая гора” [7. С. 350]. Но этот вариант нам все равно видится неправдоподобным в силу географического распределения Поклонных гор и их приуроченности к дорогам вблизи селений (см. ранее).

Версия II – окказиональные (народно-этимологические). В отношении *Поклонной горы* в Санкт-Петербурге (№ 13) в книге “Россия. Полное географическое описание нашего отечества” (1900 г.) приводится предание, согласно которому с этой горы шведы посылали послов *на поклон* к Петру I [8. С. 93–94]. Название псковской *Поклонной горы* (№ 14) А. Яхонтов (в книге “Город Псков и его окрестности” 1886 г.) связывал с приездом в Псков Василия III, которого оксковичи встретили близ города земными поклонами [6]. О Поклонной горе (№ 21) житель села Выя говорил: “По реке Нижней Тойме проживала чужь. Мой отец рассказывал (а ему старики) о том, как отступала чужь из Выи от новгородцев, как *поклонились* в последний день Вые с *Поклонной горы*...” [9. С. 72].

Версия III – языческие. Название *Поклонной горы* в Санкт-Петербурге (№ 13) некоторые связывают с обычаем карелов класть поклоны языческим богам на возвышенных местах, где они строили свои молельни [8]. И о Поклонной горе под № 21 информанты из деревни Клинья говорят: “Было на горе сначала языческое святилище, а потом была построена часовня, куда жители (чужь) приходили молиться” [10. С. 468]. «“Неподалеку от оз. Шидьерского на дороге из Кириллова в Белозерск есть *Поклонная гора* [№ 15. – А.Ш.]. Обычно подобные топонимы толковали только с чисто христианской символикой. Но вот у одной из Поклонных гор в Псковской области есть второе название *Мокрый Илья*, которое имеет явный языческий подтекст. Возможно, в будущем найдутся некие факты и о кирилловской Поклонной горе, свидетельствующие о ее языческом прошлом” [11. С. 53].

Версии IV – интуитивно-романтические. “Это было давней традицией – уезжая из Москвы [только из Москвы? - *А.Ш.*], оглянуться назад и попрощаться с ней перед часто долгим и опасным путем, а возвращаясь, остановиться перед въездом в город, поклониться и поблагодарить судьбу за благополучное завершение путешествия” [4. С. 38]; “На таких горах, с которых проезжий люд впервые видел какой-либо город – цель своего путешествия, клали земные поклоны в благодарение Богу за удачную дорогу” [11]. Название псковской *Поклонной горы* связывали с пригородным Пантелеймоновским монастырем, “до которого обычно провожали знатных людей, кланяясь им в пояс на прощание” [12. С. 112–113]. “Поклонная гора – холмик, небольшое возвышение на окраинах славянских городов, расположенное близ больших дорог. На таких холмиках встречали и приветствовали знатных гостей, дипломатов [2].

Наиболее развернутое обоснование этой версии дано Г.П. Смолицкой: “Поклоном всегда выражали и выражают преклонение перед кем-то, уважение и расположение к тому, к кому обращаются. Именно поэтому поклоном сопровождается молитва, с поклоном обращаются к уважаемым людям при проведении каких-либо важных процедур... Поклон как выражение уважения и серьезных намерений использовался при решении вопросов войны и мира... Со временем поклоном стали называть и подарки, которые подносили в знак уважения и кланялись при этом... Сразу надо сказать, что Поклонная гора при Смоленской дороге не была связана ни с богослужением, ни со сбором подарков в качестве обязательного подношения. Да и трудно себе представить, чтобы такое происходило в значительном отдалении от города, его учреждений, среди лугов для выгона скота. И все же Поклонная гора была местом, где совершались определенные ритуалы... Исторические сведения о роли Поклонных гор довольно скупы, но положение их у больших дорог при въезде в город говорит вот о чем. На Поклонной горе в Пскове псковичи встречали с поклоном великого московского князя Василия III, а под Петербургом от Поклонной горы торжественно шло к Петру I шведское посольство. Поклонная гора при Смоленской дороге в Москве была местом, где встречали иностранных послов, знатных путешественников из западных и южных стран. Здесь было встречено посольство от крымского хана Менгли-Гирея... На Поклонной горе останавливались путешественники, другие важные лица, чтобы отсюда с возвышенного места обозреть панораму города и как бы поклониться ему... Тот факт, что именно здесь Наполеон ждал ключей от Кремля, свидетельствует о том, что ему был известен обычай встречать на Поклонной горе важных людей. Итак, Поклонная гора – это холм, возвышенное место в окрестностях города при большой дороге. Здесь встречали и провожали важных лиц, иностранные посольства, встречали с приветом и поклоном в знак особого уважения к этим лицам. Отсюда прибывающие рассматривали город, любовались его перспективой и как бы кланялись ему” [13. С. 184–187].

Кстати, если эти горы были местами встреч “важных людей”, то почему они *Поклонные*, а не *Стречные* (ср. московскую Сретенку [14. С. 278])? А как соотносить с данной версией тот факт, что на Троицкой дороге были две Поклонные горы (№ 2, 3), и на относительно небольшом расстоянии друг от друга? И вообще, каких же знатных гостей могли встречать поклонами близ деревень, затерянных в глухих тверских, вологодских и архангельских лесах? Более того, известны воспоминания многих “важных лиц”, в том числе послов, где подробно описаны церемонии их встречи, но ни о каких поклонах там не говорится. Интересующимся рекомендуем ознакомиться с записками австрийского посла (в 1517 г.) Сигизмунда Гербернштейна и советника шлезвиг-голландского посольства (1634 г.) Адама Олеария [15. С. 128–130, 305–307].

Версия V – хозяйственная. Е.М. Пospelов полагает, что наиболее реалистично понимать под Поклонной горой место, где собирались *поклоны* – разновидность феодальных платежей (при этом он ссылается на “Словарь русского языка XI–XVII вв.”). Этим объясняется приуроченность Поклонных гор к главным въездным дорогам, а также расположение некоторых из них на совсем не высоких местах [1. С. 93]. К этой версии сочувственно отнесся М.В. Горбаневский [6. С. 99]. Однако, если мы внимательно рассмотрим данные указанного словаря, версия окажется под большим сомнением. Одно из значений слова *поклон* – разновидность феодальных платежей в Древней Руси – пошлина, уплачиваемая князю или его представителю при проезде через территорию волости или при временном пребывании на ее территории [16. С. 158]. Но таких пошлин Древняя Русь не знала вовсе, при всем обилии видов обложений, пошлин и налогов!

Подобное словарное определение вступает в противоречие с контекстами приведенных в словаре документов: “Дохода Пятуте двенадцать денег, боран, бочка пива, *поклоу* две деньги, сыр, пяток лну” (1500 г.); “А *поклоу* велел доправити на старостах три тысячи золотых болших опришно сурожан” (1547 г.); “и тако есмя его (митрополита) пожаловали, что не надобе ему... ни поминки, ни *поклонное*, ни выход, ни полетное... ни которому моему пошлиннику” (1379 г.); “А ясаку емлют на великих государей с тунгусов по три соболя с человека, да на себя емлют *поклонного* со всякого тунгуса по соболю” (1667 г.); “Пришли под твою высокую руку брацкие люди... и *поклонные* соболи тебе принесли, а иные скот пригоняли” (1676 г.); “Пошлинных и *поклонных* денег...” (1644 г.). В “Правде Русской” назван *вирный поклон* – побор в пользу княжеских сборщиков судебных пошлин (*вир*). В.И. Даль указывал из “Уложения” Алексея Михайловича: “*Поклонного* не имати ничего” и писал, что *поклонное* – то, что несут на поклон, принос, взятка [17. С. 241]. Равным образом, среди значений слова *кланяться*, *поклониться* (кому-либо, чем-либо) было и “давать подарок, подношение”: “Какой-то купец осетра в Хиву привез и поклонился им хану” (Мельников-Печерский. На горах); “Но многие жили не совсем плохо: воеводе

поклонился рублем, подьячему послал сахарцу, сукнеца или рыбки” (А.Н. Толстой. Петр I) [18. С. 867]. Итак, в сфере материальной *поклон*, *поклонное* – это подарок, подношение (в каких-либо целях) от нижестоящего вышестоящему, подношение подчас вымогаемое, а иногда – и закрепленная законодательно плата должностному лицу сверх обязательных пошлин. А коли так, к *Поклонным горам* эти *поклоны* не могли иметь отношения.

Версия VI – истинно народная. Такие возвышенности на больших дорогах, с которых открывался вид на город, назывались “поклонными горами”, так как проезжавшие коленопреклоненно “отдавали поклон” видневшимся вдаль церквам [19. С. 239]. Именно эту версию мы полагаем верной (хотя П.В. Сыгин напрасно, видимо, говорит о коленопреклонении, а слова *отдавали поклон* берет в кавычки). Она упоминается большинством позднейших авторов, но без энтузиазма, а М.В. Горбаневский даже характеризует ее как топонимическую легенду [6. С. 98]. Е.М. Поспелов считает, что по мотивации эта версия (как и версия IV) представляет собой типичную народную этимологию, не подкрепленную какими-либо историческими документами [1. С. 93]. Но народный обычай не требует подкрепления документами (один, впрочем, мы предьявим далее).

Смысл названия *Поклонных гор* абсолютно ясен всякому верующему человеку, даже не пишущему ученых трудов. Издавна православные люди крестились на увиденные ими церкви. Наложение креста, как известно, завершается поклоном: простым (наклоном головы) или поясным. Вот *Поклонные горы* и были дорожными перевалами (как их удачно охарактеризовал И.Е. Забелин), с которых открывался вид на церковь (церкви) того или иного селения, завидев которую путник осенял себя крестом: “на этой горе богомольцы кланялись Кирилло-Белозерскому монастырю” (г. *Поклонная* № 15); “с этой горы было видно 12 церквей в округе, на ней хотели поставить часовенку” (*Поклонная Гора* № 16); “с этой горы церковь была видна, сюда народ молиться ходил” (*Поклон-Гора, Поклонница* № 18) [10. С. 315].

Почему эти горы *Поклонные*, а не *Крестовские* (хотя есть и такие)? Потому, что крест и как объект, и как термин уже был востребован в топонимии в другом значении. “Крестовыми” обычно являлись объекты, на которых (или близ которых) стояли кресты – обетные, сигнальные, навигационные (на море), поминальные, культовые, либо находящиеся близ *крестов* – пересечения дорог [10. С. 306–307] (о *Крестовской заставе* в Москве см. [14. С. 141]).

Близкую смысловую нагрузку несли и названия гор *Богомольная, Богомолова, Богомолка, Богомольная Горка* (“там молились люди, завидя церковь на следующем холме”) [10. С. 315–316].

Обычай этот очень древний, о чем красноречиво свидетельствует “Хождение игумена Даниила” (1106–1107 гг.): “Есть же святыи град Иерусалим в дебрех, около его горы камены и высокы. Да нолны при-

шедшее близко граду тоже видети первое столп Давидов и потом, дошедшее мало, увидети Елеонскую гору и свята святых и Воскресение церковь, идеже есть гроб господень, и узрети потом весь град. И ту есть гора равна от пути близ града Иерусалима, яко версты вдале; **на той горе сседают с конь вси людие и поставляют крестьци ту и поклоняются святому Воскресению на дозоре граду**" [20. С. 53]. Вот этой выразительной цитатой мы и завершим свое небольшое исследование о названии *Поклонных гор*.

Литература

1. *Поспелов Е.М.* Названия подмосковных городов, сел и рек. М., 1999.
2. *Мурзаев Э.М.* Словарь народных географических терминов. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. М., 1999. Т. 2.
3. *Забелин И.Е.* История города Москвы. М., 1990 (репринтное воспроизведение издания 1905 г.).
4. *Романюк С.К.* По землям московских сел и слобод. М., 1999. Ч. II.
5. Списки населенных мест Российской империи. Московская губерния. СПб., 1862.
6. *Горбаневский М.В.* Московведение. М., 1997.
7. *Невская Л.Г.* Словарь балтийских географических апеллятивов // Балто-славянский сборник. М., 1972.
8. *Горбачевич К.С., Хабло Е.П.* Почему так названы? Л., 1962.
9. *Криничная Н.А.* Предания Русского Севера. СПб., 1991.
10. *Березович Е.Л.* Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте. Екатеринбург, 2000.
11. *Кузнецов А.В.* Болванцы на Лысой горе. Вологда, 1999.
12. *Краснопевцев В.П.* Улицы Пскова: справочник. Л., 1972.
13. *Смолицкая Г.П.* Названия московских улиц. М., 1996.
14. Улицы Москвы. Старые и новые названия. Топонимический словарь-справочник. М., 2003.
15. Россия XV–XVII вв. глазами иностранцев. Л., 1986.
16. Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1990. Вып. 16.
17. *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. III.
18. Словарь современного русского литературного языка. М.-Л., 1960. Т. 10.
19. *Сытин П.В.* Откуда произошли названия улиц Москвы. М., 1959.
20. Житие и хоженье Даниила, Русьския земли игумена // Хрестоматия по древней русской литературе XI–XVII веков / сост. Н.К. Гудзий. М., 1962.



Топонимика

Нижний Новгород и ... нижегородский, нижегородцы

© Е. А. ЛЕВАШОВ,
кандидат филологических наук

Между первой и второй частями заголовка явное словопроизводное несоответствие. Чем это объяснить?

- Нижний Новгород основан на Волге 785 лет назад: “Великий князь Гюрги сын Всеволожь заложил град на оусть Оки и нарече имя ему Новъгород” (Лаврентьевская летопись, 1221). То, что городу это имя было дано сознательно по известному образцу, указывается там же под годом 1239: “И грады многы постави, паче же Новъгород вторыи постави на Волзе”. И жители этого второго Новгорода первоначально именовались – тоже по образцу – *новгородцами*: “Придоша мордва с Пургосом к Нову городу и отбишася их новгородцы” (Лаврентьевская летопись, 1228).

Так в XIII веке на Руси оказались три Новгорода: *Новгород Великий*, *Новгород Северский* и *Новгород “на Волзе”* (топонимов с первой частью *Нов*, *Ново* и *Новый* в славянской топонимике немало). Появление третьего *Новгорода* потребовало (как и в названиях предыдущих Новгородов) ориентирующего определения – и так как город был “понизовым”, то есть стоящим в нижнем течении той части Волги, которая находилась в пределах тогдашней Руси, он начал уточняюще именоваться *Нижним*: “Поставлен бысть Спас в Новегороде в Нижнем” (Лаврентьевская летопись, 1352).

Поскольку двусловное имя *Новгород Нижний* превратилось в устойчиво употребительное, со временем стало возможно обходиться синонимичной формулой *Нижний город* (см. в грамоте Ивана IV, 1547: “от Новагорода от Нижнево” и там же: “от Нижнего города”). Более того, второе название в живом употреблении породили и третье: просто *Нижний* (субстантивация). В более поздней грамоте того же Ивана IV (1575–1581) встречаем: “дорога от Мурома к Нижнему и от Нижнего к

Северскому городу”. Это третье, упрощенное название в ходу до сих пор: “Наконец, я прибыл в Нижний, и здесь началась моя нижегородская жизнь” (В. Короленко. История моего современника).

Когда *Новгород Нижний/Нижний Новгород* стал центром княжества и затем уезда, потребовалось соответствующее оттопонимическое прилагательное – и оно было образовано, но не от исторически первичного, а от вторичного названия: “Да сына своего Ивана благословляю великим княжеством Нижегородским, даю ему Новгород Нижний с волостями” (Духовная грамота Ивана IV, 1572) или (в грамоте царя Михаила Федоровича, 1626): “за дьяком за Никифором Никулиным поместья в Нижегородском уезде...”.

Следующий (и по времени последний) словообразовательный шаг – появление слова, обозначающего название жителей города и уезда (такие названия всегда появляются позже соответствующего прилагательного – в соответствии с языковой потребностью): “Да те же дети боярские и казаки, звенигородец Ивашка Рокотов да нижегородец Васька Суэтин с товарищи в распросе сказали...” (1635). Производящая основа, как видим, не *Нижний город*, а прилагательное *нижегородский*.

В течение столетий первая часть названия *Новгород Нижний/Нижний Новгород* воспринималась как краткое прилагательное, то есть не произошла его законченная, знаковая топонимизация: *Новагорода, Новугороду* и т.д. Поэтому понятийное словосочетание *новый город нижний/нижний новый город* в производных поневоле сокращалось; отсюда – *нижегородский, нижегородцы*.

Официальный топоним *Нижний Новгород* и его производные с позиций сегодняшнего словообразования несоотносимы: в исходном прилагательном утрачен суффикс *-н-* (русская топонимика аналогичных примеров не знает, ср. *Нижняя Тура – нижнетури́нский, нижнетури́нцы; Нижний Тагил – нижнетагильский, нижнетагильцы; Нижние Серги – Нижнесергинский, нижнесергинцы*), а в производящем существительном – начальный компонент *Нов-* (случай небывалый). Нормативно образующие *нижненовгородский, нижненовгородцы* неупотребительны с самого начала. Только обращение к исторической последовательности этого словопроизводного гнезда (*Новгород – Новгород Нижний – Нижний Новгород – Нижний город – нижегородский – нижегородцы*) помогает понять, как и почему появилось сегодняшнее (нижегородцы прежних веков, надо полагать, этого не ощущали) расхождение между указанными производными и производящими словами. Это тот случай, когда производные от топонима не надо производить самому, руководствуясь действующей практикой, – надо их просто знать.

Санкт-Петербург



“Слыхали мы и не такие лясы”

© А. М. МОЛДОВАН,
член-корреспондент РАН

Ошибочность традиционной этимологии выражения *лясы точить* сегодня можно считать окончательно доказанной. Но поддерживаемая едва ли не самым популярным сегодня словарем В.И. Даля, эта этимология продолжает существовать в каком-то своем параллельном мире, отражаясь в новых словарях, пособиях. Так, в 1987 году был издан “Опыт этимологического словаря русской фразеологии”, в котором о происхождении выражения *точить лясы* сообщается: “Балясы (лясы) – точеные столбики для перил. Вытачивая их, развлекались разговорами” [1. С. 145]. Версию о происхождении слова *лясы* от названия точеных столбиков для перил повторил и очередной выпуск “Этимологического словаря русского языка” [2. Т. 9]. К сожалению, именно эта версия, обрастая новыми подробностями, живет во всех популярных изданиях и в Интернете, например: «*Лясы (балясы)* – это точеные фигурные столбики перил у крылечка. Изготовить такую красоту мог только настоящий мастер. Наверное, сначала “точить балясы” означало вести изящную, причудливую, витиеватую (как балясы) беседу. Но умельцев вести такую беседу к нашему времени становилось меньше и меньше. Вот и стало это выражение обозначать пустую болтовню» (Аргументы и факты, сайт http://www.aif.ru/online/uznat/56/hz03_01). С данного сайта версия перекечевала на другие.

История объяснения выражения *лясы точить* такова. Сначала В.И. Даль слову *балясина* дал такое определение: “точеный столбик под поручни, перила, ограду”, а далее – “лясы, белентрясы, балы, шутки, веселые рассказы”, тем самым представив их в качестве родственных слов. С.В. Максимов облек это представление в форму свидетельства очевидца: “В глазах ложкарей, приготавливающих нужные всем и полезные вещи, такое веселое занятие [точение балясин. – А.М.] кажется менее внушающим уважения” [3. С. 32].

Потом А.И. Соболевский предположил, что *лясы* – сокращенное *балясы* (как *шлык* из *башлык* и *стриук* – из *баструк*) и что “оригинал русского

слова – польск. *balasa, balasy* – забор, загородка, которое в свою очередь восходит к итал. *balaustro* – столбик в балюстраде. Первоначальное значение русского выражения: выгачивать столбики для перил” [4. С. 345].

Позднее В.В. Виноградов обратил внимание на то, что в русских говорах встречаются слова *ляс* в значении “вздор, шутки, пустословие” и “льстец, пустослов”, а также *лясить* “балагурить”; в подобном значении он отметил у Станюковича слово *лясничать*. В “Опыте областного великорусского словаря” *лясы* зафиксировано со значениями – 1) лесть, ласкательство; 2) шутка [5. С. 109]. На этом основании В.В. Виноградов сделал закономерный вывод о том, что выражение *точить лясы* пришло из народных говоров.

Но гипнотическая сила идеи о связи этого выражения с производственным процессом побудила В.В. Виноградова искать источник *лясов* в токарном и строительном деле. Он предположил, что слово может быть заимствованием из польского *lasa* – “решетка, сетка”; в строительном деле – “грохот”; и, значит, можно говорить о параллелизме в семантической эволюции выражений *точить лясы* и *точить балясы*, в ремесленном происхождении которого В.В. Виноградов не сомневался [6. С. 684–685]. Эти соображения он высказал в связи с объяснением выражения *точить балы*, которое, по его мнению, предшествовало идиоме *точить балясы*. Таким образом, он предлагал рассматривать выражения *точить балы*, *точить балясы*, *точить лясы* как реализацию общей модели развития переносных значений у ремесленных терминов. Слово *балы* в выражении *точить балы* В.В. Виноградов считал заимствованием из голландского или немецкого (нем. *Ball* “шар”), или польского (*bal* “шар, брус, бревно”), с чем едва ли можно согласиться [об этимологии слова *ba(d)ly см. 7. Вып. 1].

Данное А.И. Соболевским объяснение выражения *точить лясы* было принято и другими исследователями, зафиксировано этимологическими словарями русского языка [8, 9, 10] и растиражировано в различных специальных и популярных изданиях. Их авторов почему-то не смутило то, что А.И. Соболевский оставил без ответа существенный вопрос: если выражение *точить лясы* пришло из ремесленной сферы, почему нет ни одного документального свидетельства его употребления в этой сфере в прямом значении? Более того, нет ни одной фиксации слова *лясы* в значении “балясины” – притом, что, с другой стороны, есть множество диалектных данных русского и других славянских языков (см. дальше), согласно которым корень *ляс-* обозначает пустую болтовню.

Справедливости ради заметим, что многие материалы А.И. Соболевскому были недоступны. Семантическая неосновательность его объяснения состоит в том, что название однообразного и потому **неприятного**, но при этом **полезного** дела не может стать обозначением праздной, шутливой болтовни, веселого вздора – занятия **приятного и бесполезного**. Если бы выражение *точить лясы* было символом простого и

легкого дела, мы должны были бы ожидать его переноса в первую очередь на другие аналогичные несложные, но **продуктивные** процессы – изготовление каких-нибудь примитивных предметов, прополку грядок, уборку помещений и улиц и т.п., – чего, однако, не происходит. Уже одно то, что использование этого выражения ограничивается **разговорной сферой**, и при этом оба его члена (и глагол, и существительное) могут заменяться синонимами, относящимися **исключительно** к разговорной сфере, не оставляет сомнений в том, что ремесленная деятельность к этому выражению не имеет отношения, а слово *точить* выступает в своем древнем значении “источать, проливать; испускать” [11. Т. 3. С. 983].

Полагая, что употребление слова *балы* за пределами словосочетания *точить балы* и менее распространенного – *подпускать (подпущать) балы* – не было очень широким, В.В. Виноградов посчитал это доказательством его изначальной идиоматической связанности [6. С. 683]. Он не заметил в доступных ему текстах, что слово *лясы* употребляется с теми же глаголами, что и *балы*, то есть не только *точить лясы*, *наточить лясы*, но и *упражняться в точении ляс*, *рассказывать лясы*, *подпускать (подпущать) лясы*, *с лясами подъезжать* [12. Вып. 12. С. 26]. С другой стороны, не был учтен материал иных славянских языков, прежде всего украинского, в котором с глаголом *точить* употребляется целый ряд слов, то есть говорят не только *точити ляс*, но и *точити баляс*, *точити баландрас*, *точити теревені*, *точити тари-бари*, *точити брехню* и т.п.

А.Ф. Журавлев высказал сомнение в том, что слова *балы*, *баляс*, *лясы* в идиоматических сочетаниях с глаголом *точить* являются заимствованиями. Он привел из “Словаря русских народных говоров” (далее – СРНГ) ряд однокоренных и близких по словообразовательной модели диалектных и просторечных слов: рязанские – *байбалá* “болтун, пустомеля”, *балаболка*, *балагур*, *балáкать*, *балалáйка*, имеющие в некоторых диалектах значения “пустые речи, вздор”, *балантряс* “повеса”, *балендрясы* “небылицы”; вологодские – *баляга* “пустомеля”, *балясить* “шутить, пустословить”, “разговаривать”; пермские – *баяла* “говорун, рассказчик”, *белендрясить*; владимирские и ярославские – *калабалы* “сплетни, вздор, пустые разговоры”, *ляса* “о болтливом человеке”, “молва”; псковские и тверские – *ляскалы* “зубы” (ср. *точить ляскалы* “зубоскалить”), *ляскотать* “болтать” [14. С. 426]. А.Ф. Журавлев предположил, что слова *балы*, *баляс*, *лясы* входят в звукоизобразительный ряд, в частности, *лясы* могут быть связаны с разговорным *ля(-ля)*. Это замечание, безусловно, верно, поскольку вообще в разговорных и просторечных обозначениях речи говорящие склонны обращаться к звукоподражаниям. Особенно справедливо оно по отношению к словам с корнем *бал-/бол-*, который, с одной стороны, может быть и звукоподражательным, например: *балабон* “звонок”, *балаболить* “болтать”, *балаболка*, *балабола*, *балабон* “пустомеля” и т.д. [9. Т. 1; 15. Т. 1], с другой – связан с праславянским *bal “разговаривать”.

Однако еще ранее, анализируя праславянские образования от основы *bal-* “разговаривать”, А.С. Мельничук указал на родство русских диалектных *бáлить* “шутить”, *бáлеть* “болтать”, *бáлы* “лясы, шутки”; украинского *бáли* “лясы” в выражении *бали точити*, *балáкати* “разговаривать”; сербохорватского *балити* “говорить вздор” и др. В этом отношении показательны такие слова, как русские диалектные *бальясы* “лясы, рассказы”, *бальясник*, *бальясничать*, украинские *бальяси* “росказыни”, *бальясник*, *бальясувати* “балагурить, шуметь, шалить”, белорусское *бальясник* и др. Касаясь в связи с этим традиционной этимологии слова *бальясы*, А.С. Мельничук привел такие опровергающие ее данные, как русское *балезник* “болтун”, украинское *бальяс* “шум”, чешское диалектное *balásat* “уговаривать”, сербохорватское *бальэзгати* “нести вздор” и др. По его мнению, то, что выражение *точить бальясы* «находится в одном ряду с несомненно давними выражениями типа *точить лясы*, *точить балы*, укр. *точити ляси*, *точити теревени* (ср. укр. *розмова точиться*) “разговор идет, ведется”, делает очевидной непосредственную связь слова *бальясы* и родственных ему образований с общеславянской основой **bal-* “разговаривать”» [16. С. 63–64].

В соответствии с этим в 1-м томе “Этимологического словаря украинского языка”, вышедшем в 1982 году, были выделены в качестве омонимов слова *бальяс* “гомон”, мн.ч. *бальяси* “пустословие” и *бальяси* “поручни” и подчеркнуто, что «этимологическое отождествление *бальяси* “пустословие” с *бальяси* “поручни, столбики балюстрады” является ошибочным». Но в статье *ляси* этого словаря, к сожалению, мнение А.С. Мельничука не учтено и слово интерпретируется как «не вполне ясное; возможно, связанное с *ляскати* “пустословие”», после чего повторяется традиционная этимология А.И. Соболевского [15. Т. 3].

Сомнения в том, что *лясы* произошли от названия точеных столбиков для перил, высказал и В.М. Мокиенко. Кроме уже упоминавшихся слов, он указал на “Словарь областного архангельского наречия”, который содержит не только оборот *лясы подпускать* “льстить, заискивать”, но и примеры свободного употребления слова *лясы* в значении “льсть, искательство”; а также и производные: *ляса*, *лясарь* “льстивец, льстивый человек”, *лясить* “льстить, угождать”, *подлясить* “подольстить” [17. С. 86]. Кроме того, Мокиенко привел материалы картотеки СРНГ на слово *лясы* в значениях “хитрые и льстивые слова”, “любезность”, “пустые слова”, иллюстрирующие распространение этих значений и в других русских говорах [18. С. 20–25; 19. С. 31–38]. Опубликованный позднее том СРНГ не оставляет сомнения в том, что, с одной стороны, слово *лясы* в значении “болтовня, пустые разговоры” употреблялось в разных областях России и самостоятельно (ср. *Слыхали мы и не такие лясы*), но при этом, заметим, нигде не зафиксировано употребление этого слова в значении “столбики для перил”. С другой стороны, оно использовалось при различных глаголах – то есть не только *лясы точить*, но и *лясы веять*,

лясы городить, лясы подводить, лясы разводить, лясы распускать, лясы сказывать, лясы строить, лясы строчить и т. п.

Подводя итог нашим наблюдениям, приведем слова немецкого ученого Р. Эккерта, который также занимался этим выражением: «Варианты и синонимы к фразеологизму *точить лясы (балясы, балы)* связаны с производными корнями *bal- “разговаривать”, ср. рус. диал. *балы, балясы* “разговоры, шутки” и с производными от корня *l'as-, ср. рус. диал. *лясать* “говорить вздор, болтать пустяки”; *ляскасть* “говорить пустое, болтать попусту и т. д.”» [21. С. 318–319].

Литература

1. *Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В.* Опыт этимологического словаря русской фразеологии. М., 1987.
2. Этимологический словарь русского языка. М., 1963.
3. *Максимов С.* Крылатые слова. М., 1955.
4. *Соболевский А.И.* Мелочи // Русский филологический вестник. 1911. Т. 66. № 2.
5. Опыт областного великорусского словаря. СПб., 1852.
6. *Виноградов В.В.* История слов. М., 1994.
7. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. М., 1974.
8. *Преображенский А.Г.* Этимологический словарь русского языка. М., 1959.
9. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. М., 1986.
10. *Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.М.* Краткий этимологический словарь русского языка. Изд. 2-е, М., 1971.
11. *Срезневский И.И.* Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1895.
12. Словарь русского языка XVIII в. Л., 1984.
13. Українсько-російський словник. Київ, 1953–1963.
14. *Журавлев А.Ф.* Scripta manent // Филологический сборник (К 100-летию со дня рождения академика В.В. Виноградова). М., 1995.
15. Етимологічний словник української мови. Київ, 1982.
16. *Мельничук А.С.* Об одном из важных видов этимологических исследований // Этимология. 1967. М., 1969.
17. *Подвысоцкий А.* Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885.
18. *Мокиєнко В.М.* До питання про зівставний аналіз слов'янської фразеології // Мовознавство. 1979. № 5.
19. *Мокиєнко В.М.* Славянская фразеология. М., 1980.
20. Словарь русских народных говоров. М.-Л., СПб., 1965.
21. *Эккерт Р.* Русская фразеология в немецкоязычной аудитории // Zeitschrift für Slavistik. 1990. Bd. 35. № 3.



От золотого века до глиняного

© А. Н. ШУСТОВ

Когда задумываешься о различных названиях веков, то в первую очередь на память приходят известные со школьных времен: *каменный, медный, бронзовый, железный*. Такие определения первобытных периодов даны историками по основным материалам, из которых наши очень далекие предки изготавливали свои орудия. Но наряду с этим в языке существуют еще и метафорические названия.

Впервые такие определения временных этапов встречаются у древнегреческого поэта Гесиода (VIII в. до н.э.) в поэме “Труды и дни”. Автор разделил предшествующую ему историю человечества на пять “поколений” (“веков”): *золотое, серебряное, медное, безымянное и железное*. Последнее “поколение”, по мнению автора, – самое несчастное во всех отношениях. И Гесиод огорчен тем, что является его современником: “Если бы мог я не жить с поколением пятого века!” [1].

Эти определения древние греки очень хорошо знали, они фигурировали в их образном языке. Наиболее известным со временем стал *золотой век*. С незапамятных времен люди, уставшие от бесконечных тягот своего времени, считали, что раньше, до них, жизнь была легкой и счастливой, и они, подобно древним римлянам, вздыхали об *aurum temporis priscum* (добром золотом времени/веке).

Вот как представлял его тот же Гесиод:

В прежнее время людей племена на земле обитали,
Горестей тяжких не зная, не зная ни трудной работы,
Ни вредоносных болезней, погибель несущих для смертных <...>
Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою,
Горя не зная, не зная трудов. И печальная старость
К ним приближаться не смела.

(Труды и дни. Пер. В.В. Вересаева)

Людям всегда было свойственно идеализировать прошлое. Вспомним, как в своих стихах неоднократно тосковал об ушедших годах Ф.И. Тютчев: “Я помню время золотое”; “Я вспомнил время золотое”. Да и не он один. Не случайно устойчивыми синонимами прилагательного *золотой* являются: *лучший, счастливый, первоклассный*; высшее достижение чего-либо, взлет.

Золотым веком, в частности, у нас в России, давно принято называть вполне определенный период развития русской литературы – время Пушкина и его гениальных современников. Характерными особенностями этого “короткого отрезка времени” считаются, по справедливой оценке поэта Н.А. Оцупа, “высокое трагическое напряжение поэзии и прозы, их пророческое усилие”, а также “неподражаемое совершенство формы” [2. С. 549].

Эта хронологическая метафора со временем стала восприниматься русскими людьми как абсолютная данность: иной вершины не было и, казалось, не может быть. (О золотых веках других народов говорить не будем.) Творческие достижения авторов тех лет всегда считались эталоном или, как теперь говорят, – высшей планкой отечественной словесности, а выражение *золотой век* стало крылатым. Ныне вместо *века* иногда используется его близкий синоним: “Золотая эра эндовидеокirurgии началась в 1987 году” [3].

Однако в мире нет абсолютного и нет ничего застывшего: появились новые таланты, наступило иное время, для которого было предложено не менее “ценное” название – *серебряный век*. Предполагается, что “слово-то это – серебряный век – в современном его понимании вылетело в 1913 году как раз из этого подвала” – артистического кабаре “Бродячая собака” [4].

Писатель Б.К. Зайцев считал, что в начале 1910-х годов «культура наша <была> в некоем недолгом “ренессансе” или “серебряном веке»» [5]. В “Поэме без героя” А. Ахматова назвала именно 1913-й год, когда “серебряный месяц ярко / Над серебряным веком стыл”.

Но документально новое словосочетание было зафиксировано позже: одним из первых его употребил (применительно к прозе!) критик П.П. Муратов в 1926 году: “Стендаль, Гете, Пушкин – серебряный век европейской прозы, тогда как Флобер, Толстой и Достоевский –

ее золотой век” [6]. О его “источнике” неплохо сказала поэтесса Л. Чичерина:

“Модерн” – извилистый, изогнутый цветок.
Соединил он вместе Запад и Восток,
И все искусства покори́л сей завиток,
И даже “Веку серебра” он стал *исток* [7].

Этот неологизм, “название для характеристики модернистической русской литературы”, попытался эстетически обосновать один из современников того “века” Н.А. Оцуп в статье с характерным названием “Серебряный век русской поэзии”, опубликованной в 1933 году в Париже. Автор отметил: «То, что мы [он претендовал на авторство словосочетания. – А.Ш.] назвали веком “серебряным”, по силе и энергии, а также по обилию удивительных созданий, почти не имеет аналогии на Западе: это как бы стиснутые в три десятилетия явления» (имеется в виду период с конца 1880-х годов до 1917); “Серебряный век русской литературы окончательно определяется углубленным проникновением в судьбы национальные” [2. С. 551].

Серебряный век не может быть четко определен хронологически, поскольку это не только время, но и отношение художника к этому времени. Его можно считать отблеском золотого (пушкинского) века, периодом нового духовного и художественного подъема в противовес декадансу конца XIX века. При этом уместно вспомнить парадокс Н.А. Бердяева, отметившего “отсутствие поэтичности в атмосфере русского ренессанса, хотя это была эпоха расцвета поэзии” [8].

Метафора *серебряный век* оказалась весьма удачной, она охватывала не только явления литературы, но и многие другие виды искусства и со временем вошла в очень широкое употребление, став чуть ли не научным термином. Термин, “столь долго избегавшийся официальным литературоведением и считавшийся чем-то вроде зловонных происков западных советологов, ныне полностью реабилитирован и представляется вполне банальным определением, прилагаемым ко всему, что угодно” (Н. Богомолов [9]). “Это понятие не столько филологическое, сколько мифологическое” (В. Крейл [10]). Позже начало “века” было отнесено к 1890-м годам, а время завершения его колеблется у разных авторов от Октябрьской (1917 г.) революции до конца 1930-х годов. О серебряном веке ныне говорят, пожалуй, даже чаще, чем о золотом, и всем понятно, о чем идет речь.

Правда, встречаются и “неуважительные”, иронические оценки этого периода: “серебряный век предреволюционной русской культуры был век посеребрённый” [11]; “разгул интеллигентской поэзии, прозванной поэзией серебряного века” [12]; А.Н. Толстой «сделался частью того большого литературного мифа, который называется “Серебряный век”» [13].

В сравнении с прошлыми “веками” советский (да и нынешний) период русской литературы современными авторами уничижается, как и во времена Гесиода. Вот как представляет себе русскую поэзию в историческом плане поэт А.М. Городницкий:

Российской поэзии *век золотой*, –
 Смертями великими он знаменит
 Поэзии русской *серебряный век*, –
 Расстрельною пулей пробитый висок
 А *бронзовый век* выступает теперь.
 Каких от него ожидаем потерь
 В сравнении с теми веками?
 У музы про эти спроси времена... [14]

По мнению иных критиков, наше время для своего определения не заслуживает благородных металлов: “...в последнее время в нашей литературе наступил *век железный* и даже *глиняный*; пора ее невинности и безукоризненной нравственной чистоты миновалась” [15].

Метафора эта не нова: *золотой* и *железный* века – словно два противоположных полюса. При этом первый – какой-то сказочный, эфемерный, а второй – реальный, свой, близкий. Литераторы и журналисты уже давно сопоставляют их. Еще в 1769 году сатирический журнал Н.И. Новикова писал: “Суевер [имя – значимое! – А.Ш.] златой век, в коем позволено всем мыслить, называет железным веком и утверждает, что сие означает скорое преставление света” (Трутень), то есть для нормальных людей свобода мнений – это счастливый золотой век, а для невежд (суеверов) – конец света.

Нравственной основой железного века является деловитость, черствость, бездушие. Такую оценку дал ему еще в 1824 году Пушкин:

На век – торгаш; в сей век железный
 Без денег и свободы нет.
 (Разговор Книгопродавца с Поэтом)

В водевиле Д.Т. Ленского (сер. XIX в.) новое время имеет еще более неприглядную характеристику:

Век различных спекуляций,
 век условий, договоров,
 век подрядов и век акций,
 век мошенников и воров [16].

Однако Пушкин сам же и отметил, что в его *железном* веке А.А. Дельвиг пророчески разглядел – *золотой*. Это своеобразный ответ на метафору из новиковского “Трутня”. А еще современный поэт Кушнер обобщает: “Что ни век, то век железный” (“Времена не выбирают...”).

В конце 1960-х годов в московской диссидентской среде появилось новое определение – *бронзовый век*. Один из его авторов рассказал: «Мы самоопределились как поэты третьего ренессанса в русской литературе. Я убежден, что “бронзовый век” соотносим с “золотым” и “серебряным” веками русской культуры» [17].

Сегодня, когда упало и качество “поэтической продукции”, и интерес к ней читателей, наблюдается дальнейшее снижение ценности материала, с которым обычно сравниваются века: в конце 2005 года в Москве «состоялся очередной праздник журнала “Наша улица” с манифестацией программы “Бронзовый век русской культуры”» [18] (а в 2006 г. в библиотеке – фонда “Русское зарубежье” – семинар “Бронзовый век”); “В отличие от золотого века и серебряного века русской поэзии наш трагический ХХ, наверное, можно назвать проще – *веком свинцовым*” [19]. Положим, не весь ХХ век – ведь начало его всё же было *серебряным*. Но тенденция понятна! Для образного определения используется ныне и “родственник” железа – заурядный чугуун: “...в огромном, *чугунном* грохочущем ХХ веке, *веке* советской литературы, эта же языковая стихия обнаружилась у Шергина” [20].

Мы уже говорили, что “материализация” веков делает их названия метафорическими, поскольку сближает определения-прилагательные по сходству значений, смыслов. Однако это не всегда очевидно. Чаше производится относительное, линейное, сопоставление одного периода с другим по принципу: *лучше – хуже*. В таком случае любой век можно обозначить сколь угодно “низким” словом (хоть *навозным*). Но будет ли это метафора (невъсказанное сравнение – с чем?)? Или всего лишь определение?..

В самом деле, какое сходство с определяющим материалом, например, у *глиняного* века: цвет, блеск, хрупкость и т.д.? Аналогично у *свинцового* или *чугунного*... Если это метафора, то скрытый смысл их не совсем ясен. Когда-то, характеризуя тяжелый духовный гнет в России, А.И. Герцен именно метафорически называл время Николая I “свинцово-эпохой”. Здесь всё верно!

Авторы эмоциональных словосочетаний сравнивают века между собой по их “ценности”, “стоимости”. *Золотой* век имеет высшую пробу, он отмечен неоспоримым знаком качества. А остальные сами по себе не значат ничего и звучат лишь в сравнении с золотом/серебром. Таким образом, словосочетание, характеризующее век, – это обычный художественный троп, когда одно слово употребляется в прямом смысле, а другое – в переносном. Правда, иногда встречаются и подлинные метафоры. Так, вышедший в Петербурге в 2005 году иллюстрированный каталог городских памятников и декоративных скульптур назван составителями – “Бронзовый век”. Действительно, скульптура в городе – в основном *бронзовая*. Хронологические рамки этого “века” ограничены 1985–2003 годами, то есть возраст века менее двух десятилетий!

Кстати говоря, понятие “век” также весьма емко и неоднозначно. В данных языковых оборотах оно никогда не имеет прямого соответствия с подлинной хронологией. Как поясняет старый (1892 г.) академический Словарь русского языка, одно из значений слова *век* – время, достопамятное по каким-либо обстоятельствам; период, эпоха [21]. Поэтому и сегодня нередко можно прочесть: “Эпоха серебряного века”.

Скорее всего в русском языке надолго останутся лишь традиционные *золотой* и *серебряный* (может быть, еще *железный*) *века*, а остальные канут в Лету как любопытные авторские окказионализмы...

Но в речи возможны определения веков и по другим признакам: “достопочтенным ретро” недавно стал уже и наш XX век:

Этот – шальной, подробный,
загнанный будто конь,
атомный,
электронный
или еще какой!

(Р. Рождественский. Ретро),

например: *термоядерный, урбанистический, компьютерный* да и мало ли можно еще найти для него названий. Однако рассказ о группе подобных метафор выходит за рамки нашей темы.

Литература

1. О происхождении богов. М., 1990. С. 171–172.
2. *Оцун Н.* Океан времени. СПб. – Дюссельдорф, 1993.
3. Вечернее время. СПб., 2006. 27 янв. – 2 фев. С. 4.
4. *Шульц С.С.* Бродячая собака. СПб., 1997. С. 68.
5. *Кара-Мурза А.* Знаменитые русские о Наполеоне. М., 2002. С. 306.
6. Критика русского зарубежья. М., 2002. Ч. 1. С. 198.
7. Рог Борей. СПб., 2004. Вып. 21. С. 84–85.
8. *Бердяев Н.* Самопознание. М. – Харьков, 2001. С. 389.
9. Серебряный век. Мемуары. М., 1990. С. 5.
10. Воспоминания о серебряном веке. М., 1993. С. 6.
11. Критика русского зарубежья. М., 2002. Ч. 2. С. 398.
12. Москва. 2005. № 10. С. 174.
13. Москва. 2005. № 7. С. 27.
14. *Городницкий А.* Сочинения. М., 2000. С. 487.
15. Шестидесятники. М., 1984. С. 57.
16. Цит.: *Чудакова Л.Г.* Лесков в Петербурге. Л., 1975. С. 105.
17. Посев. 2006. № 4. С. 21.

18. Лит. газета. 2005. 7–13 дек. С. 6.
19. Октябрь. 2002. № 3. С. 175.
20. Лит. газета. 2006. 8–14 фев. С. 7.
21. Словарь русского языка. СПб., 1892. Вып. 2. С. 741.

Санкт-Петербург



«МЕСТЕЧКОВЫЕ КОНФЛИКТЫ»

© Э. Д. ГОЛОВИНА,

доктор филологических наук

Типичная для последнего времени лексическая ошибка, называемая смещением паронимов, то есть однокоренных, но не синонимичных слов, заключается в замене слова *местный* (относящийся к определенной местности, региональный) прилагательным *местечковый* (относящийся к местечку, то есть к поселку полугородского типа, которые существовали в дореволюционной Белоруссии и Украине; в них жили еврейские семьи, выселенные из столиц по царскому указу). Местечковость со временем стала синонимом национально окрашенной провинциальности.

Второе прилагательное активно вытесняет первое: “Москва более благосклонна к федеральным программам, нежели *местечковым* проектам” (Наш вариант. 2005. № 36); “С приходом в лес вертикально-интегрированных корпораций нынешние полуубыточные *местечковые* фирмы попросту вымрут” (Наш вариант. 2005. № 37); «Поэтому приходится ждать “варяга”, профессионала, не погруженного в *местечковые* конфликты» (Вятский телеграф. 2005. № 2); “Работодатели редко обращают внимание на *местечковый* выговор. Тем более, что через несколько месяцев работы в большом городе он у вас исчезнет” (Комс. правда. 2004. 24 сент.); “Пришепетывания, смягчающие *местечковые* акценты, вылезают наружу” (Моск. комс. 2003. 24 окт.); «Вместо местечкового ВИА “Мари” – крутое и всенародное “Любэ”» (СКАТ-инфо. 2004. № 25) и т. д.

Часто не делается различия также между прилагательными *местечковый* и *местнический* (продиктованный узко региональными, не общегосударственными интересами), например: “Времени должно хватить депутатам для того, чтобы проявить подобающий им государственный, а не *местечковый* подход к вопросу о том, как будут расходоваться деньги налогоплательщиков” (Вятский наблюдатель. 2001. № 42); “Здесь сыграл роль *местечковый* столичный сговор” (ТВ. “Слабое звено”. 2004. 25 авг.).

Киров